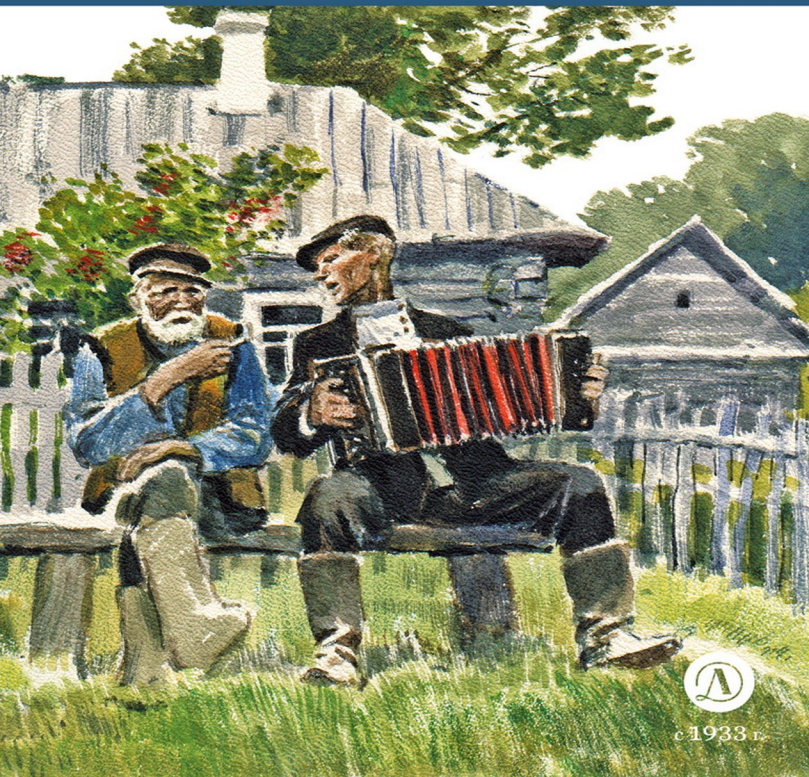
Школьная библиотека

Василий Шукшин

ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ



с 1933 г.

До третьих петухов
Василий Макарович Шукшин

Аннотация
Василий Шукшин. До третьих петухов. Рассказы и сказка
Свой среди своих
Рассказы
- Критики
- Дядя Ермолай
- Солнце, старик и девушка
- Микроскоп
- Верую!
- Психопат
- Суд
- Степка
- Упорный
- Стенька Разин
- Космос, нервная система и шмат сала
- Нечаянный выстрел
- Ваня, ты как здесь?!
- Вянет, пропадает
- Чудик
- Миль пардон, мадам!
- Из детских лет Ивана Попова. Первое знаком-

ство с городом
Мастер
Обида
Забуксовал
Медик Володя
Привет Сивому!
На кладбище
Воскресная тоска
В профиль и анфас
Штрихи к портрету
1. «О государстве»
2. «О смысле жизни»
3. «О проблеме свободного времени»
4. Конец мыслям
До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума

Аннотация

В сборник известного писателя, сценариста, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина вошли философская сказка про Ивана-дурака, который ходил за тридевять земель набираться ума-разума, «До третьих петухов» и более двадцати рассказов о русской деревне, тяжелой судьбе и нелегком быте сельчан: «Дядя Ермолай», «Верую!», «Упорный», «Забуксовал» и другие. Часть этих произведений изучается в рамках школьной программы по литературе.

Для старшего школьного возраста.

Василий Шукшин
До третьих петухов. Рассказы и сказка



Школьная библиотека



Вишнин

1929—1974

Художник *П. Пинкисевич*

Вступительная статья и составление *В. Курбатова*



© Шукшин В. М., наследники, 1963—1976
© Курбатов В. Я., наследники, вступительная статья, составление, 1998
© Пинкисевич П. Н., наследники, иллюстрации, 1998
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2024

Свой среди своих

Как только вспомню, как герои шукшинской сказки «До третьих петухов» — обитатели книжных стеллажей — смятенно слушали щебет молоденькой библиотекарши («Да нет… я думаю, это пшено. Он же козел… пойдем к Владику… Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик»…) и решили, что она собирается в зоопарк, так поневоле думаю: а что эти почтенные книжные герои сказали бы сегодня не о библиотекарше даже, а о своих нынешних соседях по полкам? Обо всех этих «рабынях секса» и «лакомых кусочках», изображенных на обложках с подробностью физиологического атласа? И как чувствовал бы себя сам Василий Макарович в этом окружении? Что-то кажется мне, что каждое утро библиотекарши находили бы все эти цветистые «дьявольские соблазны» и «поцелуи на краю смерти» на полу — непременно бы он их ночью посталкивал. Или бы сам ушел из-за невозможности перекинуться словцом по-человечески.

А мы-то, мы на чьей стороне, если Шукшину в этом глянцевом хороводе может сегодня места не

хватить, — издатели не издадут и библиотекари не закажут — зачем, если никто не спрашивает? Хорошо вот, школьная программа помнит и возвращает его детям. Ну, а без программы — удержали бы? Или вздохнули, что другие времена ждут других песен, да и уступили забвению?

Между тем дело здесь не в старении художника, а в самом состоянии народной души, народного сердца, национального ума. За дежурными разговорами про возрождение России мы успели подзабыть живого русского человека, который эту самую Россию и составлял. Да и не позабыли даже, а подменили исподтишка пустым словом, лубочной картинкой — и вот дивимся, что ничего у нас с новой жизнью не получается. Чтобы скрыть внезапно обнаружившуюся пустоту, стали этого русского мужика подальше во времени искать: одни — во временах Ивана Калиты и Алексея Михайловича, другие — в днях Александра Освободителя или Петра Столыпина. Свой недавний показался негодным для реформаторской переработки, слился в глазах обвинителей в какого-то безликого «колхозника», который своей отсталостью не давал преобразователям шагу ступить. А поскольку именно этого неудобного для социальных экспериментов мужика писала

«деревенская литература» и именно в нем мы наконец после всех идеологических обмороков последних лет стали различать свои настоящие корни и во всех передрягах сбереженный живой голос традиции, то пришлось новым историкам литературы заодно и «деревенскую литературу» освистать, нарочито опорочить ее, как «казенную» и даже «поощряемую государством».

Для такой постыдной работы ума много не надо, и охотники нашлись скоро, но расплачиваться за эту открытую ложь придется всем — в том числе и самим иронистам, если они не успеют переменить отечества (у них это быстро). С бумажным мужиком много не наработаешь — все равно придется к реальному на поклон идти, а для этого его надо видеть и знать. Можно хлопотать о фермерстве, о частной собственности на землю, о новых принципах хозяйствования, но мужик-то все равно остается тот же — русский, со всем его непредсказуемым размахом, с его никуда не девшейся волей, с его ленью и неутоленной работоспособностью, с его хвастовством и его скромностью, пьянством и злом, бескорыстием и жадностью — со всем тем, что лучше, вернее, ярче, полнее всего написал Василий Макарович Шукшин.

Да и не написал он — не то это слово. Не будет ни обиды, ни неправды, если сказать, что он не был только писателем, хотя деревенская проза и числила его своим, и сам он себя по этому «ведомству» проводил. В том-то и секрет, и сила, и тайна, и чудо его жизни, что он писал, играл, ставил свои фильмы, ни на минуту не выводя себя на позицию только «автора», властителя текста или киноматериала. Он всем этим жил. Кажется, он автором-то только и был в то краткое мгновение, когда замысел еще только брезжил и горячил воображение, а как доходило до дела, то с первой строки и первого кадра он уже варился в середине действия, плача, смеясь, страдая, ненавидя, мучаясь от тоски и любви, непонимания и восторга.

Это как будто и вообще свойственно русским художникам — сбиваться на прямое участие в сочинении, но Шукшин даже в этом чудном ряду был очевидным исключением. Теперь уже несомненно, что он был явлением подлинно единственным, не знающим подобия ни в мировой, ни в русской практике. Писателями, актерами, режиссерами в одном лице были многие, но сжатой воплощенной мыслью, живой идеей был он один.

Не потому ли в каждой отдельной области он

был как бы неполон и эту неполноту чувствовал. Да и зрители и читатели это знали и в книгах «дописывали» актера, а в актерских работах «дочитывали» писателя, все время как бы говорили себе: это еще что! Здорово, конечно, но вот еще послушайте, как он об этом пишет, или посмотрите, как он это играет или как он это снял… Для коллег во всех областях он как будто был немного дилетантом, и всяк из них норовил сузить его до одной профессии, к себе перетянуть. А смерть не дала.

Нам всем полегче, и мы подольше живем, потому что «свидетелями» умеем быть, не везде в участники суемся, кое-что и пропускаем. А он так и не научился этому житейскому искусству и, кажется, даже попытки не сделал выучиться, а сразу летел в самый клубок совершающегося и уже махал кулаками, кричал, срывал голос и изнашивал сердце, так что в 45 лет, когда он ушел, оно, по свидетельству врачей, было как у 80-летнего. Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нем за жаркое самоосмысление, пока не разорвала его сердца.

Это был очень народный способ существования — почему профессионалы и подозревали его в «дилетантизме», да и сам он, по примечанию

дружившего с ним артиста Г. Буркова, был затаенно-неуверен и от неуверенности делался только резче и откровеннее. Мы-то вот тоже рядом с целым человечеством живем, а нет этого зрения, этой сорастворенности, при которой другой становится тобой и мучается в тебе, невысказанный, жжет тебя своей правдой, пока ты ее не выговоришь. Да и свою правду в себе не удержишь. Не оттого ли у Шукшина так часто спорят, хватают друг друга за грудки, доискиваются истины. Никаких пейзажей, никаких обстоятельных вступлений, словно и самому автору не терпится узнать, до чего договорятся герои, что им откроется. Встретились — и вперед!

Может быть, от этого и мерещится дилетантизм. Ждали «прозы», а оказались в уличной свалке или наедине со сбившимся человеком, который без стыда выкладывает все, как на исповеди. Тут страсть-то сродни страстям Достоевского. Только у Достоевского русский человек мается волей и уже как бы и лишнего у Бога спрашивает, «тварь дрожащую» в себе гонит, чтобы «право иметь». А у Шукшина он обороняется, от смерти себя бережет, не лишнего ищет, а глядит, как бы хоть свое отстоять, душу живую в общем унылом равнодушии не погубить.

А не узнали мы тень Достоевского, потому что уж больно «простовато» глядит шукшинский герой и слишком в нем еще много крепкой природной жизни и, в отличие от Достоевских сумерек, все будто в полдень происходит — летит и переливается, сверкает и поет, и все через край и вперебор. Да и, по традиции, у нас за мужиками иные, некрасовско-толстовские да тургеневские добродетели числились, а не доискивание жизненных смыслов.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали… А потом скулим: плохо жить!» — это Ефим Валиков из рассказа «Суд».

«…Ду ю спик инглиш, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж… слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку… Потом Толстого, Льва Николаевича», — а это «психопат» Сергей Иванович Кудряшов.

«Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота… как это… как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам… И вот сижу я на суде и не могу понять: а я-то зачем

здесь?» — это Иван из рассказа «В профиль и анфас».

«Вот у тебя все есть — руки, ноги… <…> Но у человека есть также — душа. Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит». Это Максим Яриков («Верую!»).

Я нарочно выписываю именно эти косноязычные невнятности, это, на «интеллигентный взгляд», растительное страдание, которое вроде и страданием-то не назовешь, но это оно, оно. Гонит мужика тоска, гнетет «незаполненная», хлябающая душа. Все время какой-то зазор остается, злая пустота покоя не дает. Тонкости тут мало, но боль-то, может, и поострее интеллектуальной, потому что причины не знает и в слова не облекается (чеховскому-то да и Достоевскому страдальцу иногда довольно того, что он возьмет да и хорошо сформулирует свою боль и уж этим и развеет или хоть поослабит ее — красота-матушка по своему внутреннему милосердию спасет). А этим куда податься? Попали в какое-то «межеумье», и пошло-поехало. Мачеха-история, о которой они и думать не думают, выбила их из здравого порядка жизни, отняла наследованную жизнь. И вот они маются по тюрьмам, как Степка

из одноименного рассказа или Егор Прокудин из если не читанной, то всеми виденной «Калины красной», и дерутся, и плачут, и никому вокруг не дают покоя. На месте не постоят. Все им мало, надо, чтобы сила и воля во весь размах, в полный русский простор.

Он это, он — простор наш, бескрайность русская горит в каждой шукшинской душе. Герой тоже, поди, всеми виденных «Печек-лавочек» не зря в конце в родных шукшинских Сростках, на родной его горе Пикете, сидит. Оттуда как раз всю Россию видать. Каждый год, бывало, я любил ездить на чтения для этого лучшего мига — встать там на вершине и поглядеть вокруг. Все его герои отсюда, с Пикета, все тут себе душу открывали и потом никак уже равного ничего не находили: все тесно. Тут бы лететь только, а жизнь все норовит в рамочку вставить, в быт запереть, в «моральный кодекс», выписанный на доску у колхозного правления.

Мы, к сожалению, как следует этой тоски шукшинских героев еще не поняли. Сами обманывали себя затхлой стабильностью и хоть предчувствовали, что долго так не протянется, но отсиживались, тянули, надеялись на спасительное «авось». А он уже знал, что в таком

«межеумье» человеку не жить. Нас обманывала форма, «одежка» героев, чудачество и дурачество их. Мы вроде и знали, что дурак на Руси один правду говорит, но как-то всегда только к историческим «дуракам» и блаженным это относили, а на своих глядели снисходительно, как глядят «умные» и «знающие». А дело-то тоньше. Один умный европеец заметил, что Дон-Кихот — это великий человек, становящийся дураком из-за отсутствия цели. Вот ведь и шукшинские «дураки» — мающиеся без причины мужики, у которых душа болит, и несчетные его врали — от Пашки Колокольникова («Живет такой парень») до Броньки Пупкова («Миль пардон, мадам!») — не по душевному легкомыслию так выпадают из реальности. Они и врут-то потому, что старые связи в мире порвались, а новых они не чувствуют, и вот им скучно жить, нашей трусливой правды им мало. Такого вранья, пожалуй, ни на один язык не переведешь. Пустяк и анекдот останутся, а тайная воля уйдет. Останется пустомеля и чудак, а ненасытная душа, которая предпочтет в посмешищах походить, чем сдаваться пустой повседневности, пропадет. И как они еще счастливо врут. Вон Пашка Колокольников поглядывает на свою спутницу:

«– По-французски говорите?
— Нет, а что?
— Так поболтали бы… — Пашка закурил.
— А вы что, говорите по-французски?
— Манжерокинг.
— Что это?
— Значит, говорю…»

И Бронька Пупков идет стрелять в Гитлера: «В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль, пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю «фьюрер»…»

Они что — не знают своего истинного положения? Со стороны себя не видят? Да нет, знают и видят. А вот подойдет час — и опять поднимет их счастливая волна, и они вознесутся над родной деревней и проживут чужую, неслыханную, ослепительную жизнь, и хоть на краткий миг утолят рвущуюся на простор душу. А не представится случай соврать — споют с такой силой и звоном, что вся душа в песне изойдет. Вспомните-ка, ведь у него чуть не в каждом рассказе и каждом фильме — песня, как в мучительном рассказе «Степан», где «под песню охота как-нибудь вы-

вихнуться, мощью своей устрашить, заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь».

И не то же ли томление неполноты жизни рождает несчетных шукшинских «чудиков» вроде Андрея Ерина, который на последние деньги купил микроскоп, разглядел микробов в крови и вознегодовал на «заговор» ученых, скрывающих это: «Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется» («Микроскоп»). И как назвать Моню Квасова, который изобрел вечный двигатель и «…даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали!» («Упорный»). И от одной ли скуки «забуксовал» совхозный механик Роман Звягин, услышав, как сын учит гоголевскую «птицу-тройку», и потеряв покой оттого, что в тройке-то, оказывается, летит Пал Иваныч Чичиков, и это перед ним «косясь, постораниваются» народы и государства. Чего бы Звягину до Пал Иваныча, а вот «забуксовал», и всё.

Тихие, занозистые, злые и беспечные — все они как-то неуловимо походят друг на друга, будто братья. Все заводные и талантливые. Эта похожесть в том, что все они болеют его, шук-

шинской, мыслью, живут его талантом, его волей и нетерпением. По существу, он писал непрерывную автобиографию страждущей своей души и мысли, допрашивал мир о его правилах и не хотел согласиться с социальным загоном, с узкой «нишей», куда общество для своего удобства заталкивает человека. Кажется, он эти путы чувствовал непрерывно и рвал их враньем, чудачеством, прямым выяснением, дракой.

«…Стеньку застали врасплох. <…> Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались, он делил с ними радость и горе. <…> Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. <…> Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

„Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора“, — сказал он».

Шукшин понимал Стеньку и понимал Васёку, который этого Стеньку вырезал из дерева ночами. «У Васёки перехватывало горло от любви и горя. <…> Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать… всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться».

И Василий Макарович любил горы свои, род-

ные края, мать и всех людей и, как Васека, не знал, что сделать для них — «чтобы успокоиться». И в неосуществленном, так и не снятом «Степане Разине» воскрешал во всей силе и первоначальности неуправляемую, не подчиняющуюся закону, мятущуюся и измученную, вольную и грозную народную душу, раздувал ее из-под уже затянувшего ее пепла, опять готов был устыдить расслабленного человека и искусить его могучей тоской по силе и призванности. Можно только предполагать, до какой степени «безжалостности» и «обострения» мог он возвысить свое творчество. Сердце указало этот предел — разорвалось ночью так стремительно, что не успела рассосаться таблетка валидола под языком. Как всегда, до предела он довел прежде всего себя.

Несколько лет назад В. Г. Распутин горько и верно писал: «Что-то мы не сделали после Шукшина, что-то необходимое и важное, в чем-то, за что он бился, мы его не поддержали». Теперь по всему строю выпотрошенной, лишенной содержания жизни видно, что не только не поддержали, а вообще устремились в совершенно иную сторону, от которой он бежал и с которой боролся — бился, как сильнее и вернее сказал Распутин. Пошлость и духовное истощение жиз-

ни, стремительно расходящаяся трещина между человеком и человеком, которые так мучили и злили его, стали вдруг не только нестыдны и неопасны, а законны и поощряемы. Он верил, что все неустройства и сбои человеческой природы есть только измена настоящему существу жизни, и простодушно надеялся на опамятование человека, на выздоровление общества. Этой святой верой проникнуто каждое его слово.

Вот, для примера, во всем памятных «Печках-лавочках» как много он об учителях говорит — и профессоровыми устами, и сына профессорова, и сам Иван норовит ввернуть словцо. А для чего все это? Почему так настойчиво? А это он правительству объясняет, что надо сделать. Верит, что услышат и поймут, что там только не знают и не видят, а вот услышат — и переменят. Он доверяет искусству с деревенской чистотой и даже на минуту не может допустить, что один человек может что-то не делать для другого просто нарочно, от скуки, от неприязни, наконец, не делать, и всё. Это уж потом, после равнодушия больницы, описанной им в страшном рассказе «Кляуза», он почувствует всю гибельную низость подступающей новизны, где до человека уже не будет дела, поймет, что мы исподволь, почти

незаметно глазу, но необратимо изменили себе…

Он приходил напоследок показать, что такое русский человек в его замысле, в его Богом данной святой полноте, и мы еще успели почувствовать это и в час его смерти на мгновение вздрогнули, увидев, чем бы могли быть и что предали в себе, какая даль еще была возможна в нас! И, как будто в отместку себе, потом с удвоенной стремительностью покатились в равнодушие, в предательство истории, в наживу и уничтожение остатков нравственных институтов, в небывалое по размаху разрушение.

Теперь он не мог бы выжить и дня. Такой мы стали страной для своих лучших детей. И теперь нам не дождаться рождения другого такого нашего сына и брата, потому что уничтожена почва для появления искреннего человека. Он до смертного часа оглядывался на Алтай, на милые Сростки, заговаривал себя возможностью возвращения: «Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом», и грел, грел себя мыслью об этом отступлении: «Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда». Мы и сами следом за ним, следом за врачевавшими

нас «деревенщиками» надеялись, что ничего не потеряно, что где-то ждут нас родные корни, крепкие и живые, чистые и невредимые, пока не очнулись посреди чужой страны, чужого языка, чужих нравственных законов, как в изгнании, и теперь перечитываем его со странным чувством: неужели это было с нами, в нашей России, и это мы были таким талантливым народом с такой становящейся, летящей душой?

Мы относились к нему как к младшему брату — непутевому, заводному, всякую минуту готовому загнать нас в сомнительную ситуацию, из которой неизвестно, как выпутываться, но чистому душой и оттого особенно любимому. Мы благодарили его за то, что он доверчиво обнаруживал наше лучшее, позволял не стыдиться того, что мы торопились загородить «воспитанием» и комплексующей оглядкой на чужое суждение, на скверно понятую нами городскую культуру, за которой уже маячила «культура рыночная». Увы, всем последующим поведением мы доказали, что хватило нас ненадолго, что не устояли мы на шукшинской ноте, не помогли ему, не поддержали и в конце концов оказались все-таки духовно повреждены унизительной оглядкой на «цивилизованные страны»; и Шукшина умалили,

столкнув в милое, но уже невозвратное предание, и сами своротили с живого, единственно плодотворного наследованного пути.

Есть в воспоминаниях шукшинского друга Юрия Скопа пронзительный и, как кажется, глубоко символический эпизод:

«На „Странных людях“… снималась массовка — проводы гармониста в армию. В фильм он не попал, но дело не в этом…

День выдался самое то… Человек сто, а может, и поболе вышло на расставанье. С песней… Живет в народе такая — «Последний нонешний денечек». Мотор! Пошли… Головная актерская группа вроде бы ладно взяла песню, а хвост массовочный не тое… Позабыли, оказалось, песню-то… Дубль, другой… Макарыч яриться начал… Пленка горит, а в результате — чепуха сплошная. Вот тогда и взлетел Макарыч на пригорок, чтобы все его видели, остановил яростным взмахом движение и — как рявкнет:

— Вы што?! Русские или нет? Как своих отцов-то провожали?! Детей! Да как же это можно забыть? Вы што?! Вы вспомните! Ведь вот как, братцы…

И начал:

— „Последний нонешний денечек…“ — зычно, разливно, с грустцой и азартом бесшабашным

за всю массовку вложился в голос. Откуда что берется?..

И вздохнула деревня и прониклась песней…

Когда расходились, сам слышал, как мужики и женщины толковали: „Вот уж спели так спели! Ах…“»

Кажется, мы все спели с ним последний раз. Песня кончилась. И уже некому устыдить нас: «Да как же это можно забыть?!» И некому отозваться…

Разве устанут от чужого голоса и чужого мира читатели вот этой книжки и памятью рода и любви, терпеливой памятью крови стряхнут наваждение и вспомнят, чьи они дети, и Василий Макарович, навеки дарованный сын и брат наш, улыбнется оттуда: «Жить будем…»

Валентин Курбатов

Рассказы

РАССКАЗЫ



Критики

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку, — тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.

Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:

— Ухайдакали мы с тобой пять рубликов.

Петька для приличия делал удивленное лицо.

— Ничего, прокормют, — говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу). — А нам с тобой это для пользы.

Садились всегда в первый ряд: дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

— Ты чего? Как дурак…

— А как он тут сказал? — спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое

ухо:

— Не снижая темпов.

— Хе-хе-хе! — негромко смеялся дед уже над собой. — А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

— Эх вы… люди! — горько шептал он и сморкался в платок.

Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал:

— От черти!.. Ты гляди, гляди… Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел).

— Нет, вон тот не… это… слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

— Ну-у, — обиженно говорил он, — это они понарошке.

— Так кровь же идет, — возражал Петька.

— Та-а… кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело.

— Ничего себе не в том!

— Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

— Хреновина, — заявлял он. — Так не бывает.

— Почему не бывает?

— А что, тебе разве этот парень глянется?

— Какой парень?

— С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.

— Он не лазил в окно, — поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку. — Он только к окну лез, чтобы спеть песню.

— Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было…

— А что, он тебе не глянется?

— Кто?

— Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.

— Ни вот на столько. — Дед показывал кончик мизинца. — Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит… У нас Ваня-дурачок такой был — всё пел ходил.

— Так он же любит! — начинал нервничать Петька.

— Ну и что, что любит?

— Ну и поет.

— А?

— Ну и поет, говорю!

— Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит… Когда любют, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всёй деревне… Какая же дура пойдет за него! Он же несурьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь — потому что совестно. Любит… Ну и люби на здоровье, но зачем же…

— Чего — зачем?

— Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню…

— Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!

— Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?

— Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.

— Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все, — стоял на своем дед.

— Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.

— Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало.

Со взрослыми дед редко спорил об искусстве — не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.

Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.

Дело было так.

Посмотрели они с Петькой картину — комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.

— И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь — хоть бы хны, даже усмешки нету! — горько возмущался дед. — У тебя была усмешка?

— Нет, — признался Петька. — Один раз только, когда они с машиной перевернулись.

— Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили — два рубля по-старому! А они сами посмеялись, и всё.

— Главное, пишут: «Комедия».

— Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать! Пришли домой злые.

А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. (Дед и Петька «не переваривали» телевизор. «Это я, когда еще холостым был, а брат

Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь», — сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.)

Вот, значит, сидят все, смотрят.

Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

— Хреновина. Так не бывает.

Отец Петьки обиделся:

— Помолчи, тять, не мешай.

— Нет, это любопытно, — сказал городской вежливый мужчина. — Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

— А?

— Он недослышит у нас, — пояснил Петькин отец.

— Я спросил: почему так не бывает?! А как бывает?! — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него.

— Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

— Они у нас критики с Петькой, — сказал Петь-

кин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

— Любопытно, — опять заговорил городской. — А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

— Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили»!

— Дедушка, — встряла в разговор Петькина тетя, — а разве в этом дело?

— В чем?

— А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник — это актер, но мне инте… мне гораздо интереснее…

— Вот такие и пишут на студии, — опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали — Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом.

Деда это обозлило.

— Тебе не важно, а мне важно! — отрезал он. — Тебя им надуть — пара пустяков, а меня не надуют.

— Ха-ха-ха! — засмеялся городской человек. — Получила?

Петькина тетя тоже усмехнулась.

Петькиному отцу и Петькиной матери было

очень неудобно за деда.

— Тебе ведь трудно угодить, тять, — сказал Петькин отец. — Иди лучше к Петьке, помоги ему. — Склонился к городскому человеку и негромко пояснил: — Помогает моему сыну уроки учить, а сам — ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

— Любопытный старик, — согласился городской человек.

Все стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

— Смеются, — сказал он Петьке.

— Кто?

— Вон… — Дед кивнул в сторону горницы. — Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

— Не обращай внимания, — посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил:

— Ты, говорят, дурак, из ума выжил…

— Что, так и сказали?

— А?

— Так и сказали на тебя — дурак?

— Усмехаются сидят. Они шибко много по-

нимают! — Дед постепенно «заводился», как выражался Петька.

— Не обращай внимания, — опять посоветовал Петька.

— Приехали… Грамотеи! — Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел.

Пришел через час пьяный.

— О-о! — удивился Петька (дед редко пил). — Ты чего это?

— Смотрют? — спросил дед.

— Смотрют. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

— Они понимают, а мы с тобой не понимаем! — громко заговорил он. — Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! — Дед уже кричал. — Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди, помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! — Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

— Не надо, деда, не надо, — успокаивал он деда. — Давай я тебя разую. Ну их!..

— Нет, постой, я ему скажу… — Дед хотел встать,

но Петька удержал его:

— Не надо, деда!

— Финтифлюшки городские. — Дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

— Ты мне усмешечки строишь? — Опять глаза его безрассудно заблестели. — А я тебе одно слово могу сказать!.. — Взял сапог и пошел в горницу, Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор.

— Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран — вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

— Усмешечки строить! — закричал дед. — А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петьки хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем.

— Удосужил ты меня, удосужил, родитель! — зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. —

Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

— Удосужил ты меня… — все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

— Ты мне усмешечки, а я тебе — одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь…

— Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина.

— Не говорите вы с ним, — сказала мать Петьки. — Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

— Вы меня с собой за стол сажать не хочете — ладно! Но ты мне… Это — ладно, пускай! — кричал дед. — Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

— Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил… — приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

— Ого-го! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. — Ты чего это, дядя Тимофей? А?

— Удосужил меня на радостях-то, — сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

— Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево: «Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча…»

— Он с какого года рождения?

— С девяностого.

«…одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету…Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были».

— Как кинофильм назывался?

— Не знаю. Мы включили, когда там уже шло, — пояснил отец. — Про колхоз.

«…Заглавие фильма не помнят. Знают одно: про колхоз.

Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. «Руки, — говорит, — у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43–45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции КИБЯКОВ»

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

— Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его.

— Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо,

тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся:

— Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас…

Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать:

— Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок.

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку:

— Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро. У нас в Москве знаешь сколько водят в отрезвитель!..

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

Дядя Ермолай

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-синё, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей.

Ему охота было домолотить скирду. Но… все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль… Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка… — Дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему. — Гришка с Васькой, идите на точок — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то… самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю; вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, всё на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — всё как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала всё; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит, — опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке. Кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую

пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше… И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо, — как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точкё-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю… Я посылал, я и спрашиваю. «А что?» — А сам все смотрит. Мне стало не по себе. — Зерно-то целое?

— Целое. — У Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

— Да вы были там?! На точкё-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся… Хлоп-хлоп глазами.

— Как это — были?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы

где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точкё! Сгребу вот счас обоих да носом — в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

— От… Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точкё. — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точке.

— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и… мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже… Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были…

Дядя Ермолай ошалел… Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони, — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

— Были?

— Были.

Он схватил узду… Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жёны злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — Дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты… По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк… сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас… Потом позвал с собой.

— Идите суда… Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался. — Показал. И посмотрел на нас с мольбой: — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — Он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей — иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился…

— Ну ладно, ладно… Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней… Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я… У-у, обормоты! — Он заискал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду… Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте:

«Емельянов Ермолай…вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется

снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

Солнце, старик и девушка

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами.

Только вечерами наступала прохлада.

И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место — у коряги — и смотрел на солнце.

Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное.

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях — коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

— Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

— Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал:

— Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

— Можно я вас буду писать? — спросила девушка.

— Как это? — не понял старик.

— Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

— Я ж некрасивый теперь, — сказал он.

— Почему? — Девушка несколько растерялась. — Нет, вы красивый, дедушка.

— Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала:

— Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся.

— Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь.

— Городская, наверно? — спросил он.

— Городская.

— Платют, видно, за это?

— Когда как вообще-то. Хорошо сделаю — заплатят.

— Надо стараться.

— Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

— Вы здешний, дедушка?

— Здешный.

— И родились здесь?

— Здесь, здесь.

— Вам сколько сейчас?

— Годков-то? Восемьдесят.

— Ого!

— Много, — согласился старик и опять слабо усмехнулся. — А тебе?

— Двадцать пять.

Опять помолчали.

— Солнце-то какое! — негромко воскликнул старик.

— Какое? — не поняла девушка.

— Большое.

— А-а… Да. Вообще красиво здесь.

— А вода вона вишь какая… У того берега-то…

— Да, да.

— Ровно крови подбавили.

— Да. — Девушка посмотрела на тот берег. —

Да.

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине — между рекой и горами — тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго — тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.

— Ушло солнышко… — вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так — слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

— Хорошо, — сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг,

талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..»

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки… Опять морщины!

«Надо работать, работать, работать…»

— Вы завтра придете сюда, дедушка? — спросила она старика.

— Приду, — откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел — ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо.

Садились ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку — старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны.

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

— Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много — четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет: ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любют меня. По городам все теперь…

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

— Трудно было жить? — невпопад спрашивала она.

— Чего ж трудно? — удивлялся старик. — Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

— Сыновей жалко?

— А как же? — опять удивлялся старик. — Четырех таких положить — шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокой-

ствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

— Ненастье завтра будет, — сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо.

— Почему?

— Ломает меня всего.

— А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

— Вы придете завтра, дедушка?

— Не знаю, — не сразу откликнулся старик. — Ломает чего-то всего.

— Дедушка, как у вас называется вот такой камень? — Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

— Какой? — спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

— Такой? — спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих скрюченных пальцах. — Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на стари-

ка. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

— На… камешек-то, — сказал он и протянул девушке камень. — Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко — не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож — с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, — синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

— Вы где живете, дедушка?

— А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, — старик показал дом на берегу, — дальше — Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в переулочке, — наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

— Спасибо.

— Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги.

«Нет, не слепой, — поняла девушка. — Просто

слабое зрение».

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. «Солнце — оно тоже просто встает и просто заходит, — думала девушка. — А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

— Здравствуйте, — сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул.

— Здорово.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка…

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

— Жил, — сказал мужик. — Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот.

— Он умер, да?

— Помер. — Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. — А тебе чего надо было?

— Так… я рисовала его.

— А-а. — Мужик резко зашаркал рубанком.

— Скажите, он слепой был? — спросила девушка после долгого молчания.

— Слепой.

— И давно?

— Лет десять уж. А что?

— Так…

Девушка пошла из ограды.

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

Микроскоп

На это надо было решиться. Он решился.

Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:

— Это… я деньги потерял. — При этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. — Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит: не умеет. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Дак если б я знал, я б пошел и…

— Ну не-ет!! — взревела она. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за сковородником. — Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку — отражать удары. (Древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!) Они закружились по комнате…

— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два

ребра мои будут! Мои! Мои!..

— По рукам, слушай!..

— От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.

— Садись!

— Тебе же хуже…

— Пускай!

— Ой!

— От так!

— Ну, будет?

— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел…

Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась…

Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:

— Ох, да за што же мне долюшка така-а-я-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!..

Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

— Где это они у тебя рваные-то ходют? — не вытерпел он.

— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился… Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.

— Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он.

— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?

— Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе…

— Ну, может, заходил к кому, скважина?

— Ни к кому не заходил.

— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол… Беги, они пока ишо отдадут.

— Да не заходил я в ларек!

— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

— Откуда я знаю?

— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками,

примерили бы шубки… Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина…

— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина…

— Кто же ты?

— Што теперь сделаешь?

— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь… Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца…

— Нужна она мне, читушечка! Без нее обойдусь.

— Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

— В две смены работать — и пешком? Ловко…

— Пешком! Пешком — туда и назад, скважина! А где так ишо побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз!

— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. — Я уж с мастером договорился… — Он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, попра-

вился: — Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

— Ну-ка дай сберегательную книжку, — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: — Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли… жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно.

И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу, — никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание… На него обратили внимание.

— Чего эт ты, как… голый зад при луне, светится?

— Вот… дали за ударную работу. — Андрей

прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец открыл. И выставил на стол… микроскоп. — Микроскоп.

— Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

— Луну будем разглядывать! — И захохотал.

Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну — в микроскоп!

— Чего вы? — обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.

— Ты знаешь, что тебя на каждому шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды… Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?

— Пошел ты!!

— Нет, ты ответь.

— Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

— Воду она пьет!.. Ну не дура?..

— Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску!

Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

— Гляди суда! — закричал Андрей.

Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.

— Пап!..

— Вот они, собаки!.. — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают.

— Ну, пап!

Отец дрыгнул ногой.

— Туда-суда, туда-суда!.. Ах, собаки!

— Папка!

— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

— Ну?

Сын молчал.

— Ну?

— Вот они! — заорал парнишка. — Беленькие…

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

— Гляди! Воду она пьет…

Мать долго смотрела… Одним глазом, другим…

— Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие…

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не сердилась.

— Вон, однако… — Может, соврала — у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

— Твою мать, што делают! Што делают!..

— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына. — Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. — Жиринки… Сама ты жиринка.

Ветчина целая! — Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

— Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

— С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку.

— Не меньше. А мы их — ам! — Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. — И — нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

— Небось сам выпросил? — Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. — Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.

Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся Творец, увлекся. Как всякий

художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

— Не помешайся, — сказала жена, — тебе ведь немного и надо-то — тронешься.

— Скоро начну открывать, — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. — Ты с ученым спала когда-нибудь?

— Еще чего!..

— Будешь. — И Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. — Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал… Косился на микроскоп.

— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и, как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из

колодца, из питьевого ведра… Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы… И там этих беленьких кишмя кишело.

— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — У Андрея опускались руки. — Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организьм у ребенка!

— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.

— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров… докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу…

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

— Давай спробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце… Склонился к трубке и застонал.

— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. — Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат!

— Кто? — не понял сын.

— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — всё видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

— От какой мелкой твари гибнут люди! — Вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие… Кругленькие.

— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

— Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына… И любопытство и страх отразились в глазах у Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет, — большие, пропахшие смольем… чуть дрожали на коленях.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то… Эх,

вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то… меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень?!

— Вшу видно, а этих… Как ты их?

Отец долго думал.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче… я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

— Водка в кровь, что ли, поступает?

— А куда же? С чего же дуреет человек.

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу… Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

— Давай попробуем… Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел… Вспотел даже.

— Разбегаются, заразы… Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током… Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут…

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверное, и забрел к Андрею — просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.

— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!.. «Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

— Как хочешь.

— Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

— Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!..

Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что по селу говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить… А то пропылесосить — и нечем, не соберемся никак купить.

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

— Да премию-то вон выдали… Микроскоп-то этот…

Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что… но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

— Какую премию?

— Ну премию-то вам давали!

— Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея…

— Вам премию выдавали?

— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию.

— А Андрею вон микроскоп выдали… за удар-

ную работу… — Голос супруги Ериной упал до жути: она все поняла.

— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал… так? Вон Андрей не даст соврать…

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал… Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

— У тебя три рубля есть? До получки…

— Есть… Ты за што меня ударил?

— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х… Чурка ты с глазами!

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду, заявился Андрей домой… Жены не было.

— Где она? — спросил сынишку.

— В город поехала, в эту… как ее?., в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ругалась?

— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька… сынок… — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей… не поймешь…

— Понимаю: она продаст его.

— Продаст. Да… Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего… Надо: зима скоро. Учись, Петька! — повысил голос Андрей. — На карачках, но ползи в науку — великое дело. У тя в копилке мелочи нисколь нету?

— Нету, — сказал Петька. Может, соврал.

— Ну и ладно, — согласился Андрей. — Учись знай. И не пей никогда… Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого.

Андрей посидел еще, покивал грустно головой… И пошел в горницу спать.

Верую!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, — ласкала и тянулась целовать.

— Опять!., навалилась.

— О!.. Господи… пузырь… туда же, куда и люди, — тоска, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина; она не знала, что такое тоска. — С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами… Стискивал зубы.

— Давай — матерись. Полайся — она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя — не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

— Не поймешь ведь.

— Почему же я не пойму? Объясни — пойму.

— Вот у тебя все есть — руки, ноги… и другие органы. Какого размера — это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога — ты чувствуешь, захотела есть — налаживаешь обед…

Так?

— Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его зло блестели.

— Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую: болит.

— Больше нигде не болит?

— Слушай! — взвизгивал Максим. — Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу… Дура! — вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет — требуха. Да и сам он не верил в такую-то — в кусок мяса. Стало быть, все это — пустые слова. Чего и злить себя? — Спроси меня напоследок: кого я ненавижу большего всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить — все равно что об стенку головой

биться.

— Ой, трепло!

— Сгинь с глаз!

— А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

— А что, по-твоему, душа-то — пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь поэтому. Нервничаю.

— Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно… В кино ходют. А этот — нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу.

Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом: люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет: мороз. Люди — по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних… Есть — выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и

не хочется удавиться. Ничего не хочется — вот где сволочь-маета! И пластом, недвижно лежать — тоже не хочется. И водку пить не хочется — не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал… Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел — оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это — гнусное предательство, что он — «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

— Зачем же чертежи-то передал? — допытывался старшина. — И кому!

Этого Максим не знал, знал только, что это — «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну, и что? — сердито думал Максим. — Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын…

А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих — свои такие же будут. А у тех — свои… И всё? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму. Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот — поп. Самый натуральный поп — с волосьями. У попа что-то такое было с легкими: болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях — клевал носом и бубнил, что в то воскресенье — не в это, а в то воскресенье — он принесет сразу двенадцать барсуков.

— Мне столько не надо. Мне надо три хороших — жирных.

— Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам — каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел… А я их тебе приволоку двенадцать штук…

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

— Что? — спросил он.

— Душа болит, — сказал Максим. — Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

— Спирту хочешь?

— Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой.

— Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него — что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому — не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный — не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие — живые, трепетные нити — распутывать. Однако — Максим сразу это почувствовал — с попом интересно.

— Душа болит?

— Болит.

— Так. — Поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью, уголочком. — Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не

перебивай. — Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил: — Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло — есть добро, нет зла — нет добра. Понимаешь меня?

— Ну, ну.

— Не понужай, ибо не запрет еще. — Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот — странно, далеко и безответственно. — Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом.

Илюха заснул за столом.

Поп налил еще себе и Максиму. Кивком головы пригласил выпить.

— Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

— Чего с легкими-то? — поинтересовался для

вежливости.

— Болят, — кратко и неохотно пояснил поп.

— Барсучатина-то помогает?

— Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный…

— Ты что? — удивился Максим.

— Я просил не перебивать меня.

— Я насчет легких спросил…

— Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе — зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда — зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

— В коммунизм, что ли?

— Что коммунизм?

— В коммунизм веришь?

— Мне не положено. Опять перебиваешь!

— Всё. Больше не буду. Только ты это… понятней маленько говори. И не торопись.

— Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в

вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта — победит. Иначе — для чего всё? А? Где такая сила? — Поп вопросительно посмотрел на Максима. — Есть она?

Максим пожал плечами.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

— Вот те раз!..

— Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это — океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость… — Поп выпил спирт, промокнул скатертью губы. — Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но — стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся: мы обречены.

— Ты прости меня… Можно, я одно замечание сделаю?

— Валяй.

— Ты какой-то… интересный поп. Разве такие попы бывают?

— Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

— Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет?

— Я сказал — нет. Теперь я скажу — да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! — Поп выпил. — Теперь я скажу, что Бог — есть. Имя ему — Жизнь. В этого бога я верую. Мы ведь какого бога себе нарисовали? — доброго, обтекаемого, безрогого, размазню — телю. Ишь мы какие!.. Такого нет. Есть суровый, могучий — Жизнь. Этот предлагает — добро и зло, вместе, — это, собственно, и есть Бог. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза — делаешь вид, что тебе интересно слушать…

Максим пошевелился на стуле.

— Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно наконец установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим Богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай, и ад. — Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. — Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других… Зло? Ну — зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких — «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

— А если у него кулак здоровей?

— Значит, такая моя доля — за ним бежать.

— А куда бежим-то?

— На кудыкину гору. Какая тебе разница — куда? Все в одну сторону — добрые и злые.

— Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, — сказал Максим.

— Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая — скулить на месте.

Максим стиснул зубы… Въелся горячим злым взглядом в попа.

— За что же мне доля такая несчастная?

— Слаб. Слаб, как… вареный петух. Не вращай глазами.

— Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо — при больных-то легких! — расхохотался.

— Видишь! — показал он свою ручищу. — Надежная: произойдет естественный отбор.

— А я ружье принесу.

— А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

— Ну — ножом пырну. Я могу.

— Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

— Хорошо, тогда почему же у тебя у самого

душа болит?

— Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

— Ты самолетом летал? — спросил поп.

— Летал. Много раз.

— А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо. Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже его погладил по боку — молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот, жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

— А у вас в церкви… как заведут…

— У нас не песня, у нас — стон. Нет, Есенин… Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

— Люблю.

— Споем?

— Я не умею.

— Слегка поддерживай, только не мешай.

И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда —

защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Да. Поздно? Поздно…

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

— Отец! Отец!.. Слушай сюда!

— Не хочу! — плакал поп.

— Слушай сюда, колода!

— Не хочу! Ты слаб в коленках…

— Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках… Тубик.

— Молись! — Поп встал. — Повторяй за мной…

— Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

— Повторяй за мной: верую!

— Верую! — сказал Максим. Ему очень понравилось это слово.

— Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

— Ве-ру-ю-у! — заблажили вместе.

Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

— В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

— Ве-ру-ю-у!

— Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

— Верую-у!

— В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякоть телесную-у!..

Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку, и орал, и нахлопывал себя по бокам и по груди:

Эх, верую, верую!

Ту-ды, ту-ды, ту-ды – раз!

Верую, верую!

М-па, м-па, м-па – два!

Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

У-тя, у-тя, у-тя – три!

Верую, верую!

Е-тя, е-тя – все четыре!

— За мной! — восклицал поп.

Верую! Верую!



Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки… Половицы гнулись.

Эх, верую, верую!
Ты-на, ты-на, ты-на – пять!
Все оглобельки – на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они — пляшут. Тут — или плясать, или уж рвать на груди рубаху, и плакать, и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «И-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе — на спине — взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он

всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее — он так просто не уйдет.

— За мной! — опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы… На столе задребезжали тарелки и стаканы.

— Эх, верую! Верую!..

Психопат

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он и правда какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, простудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок), но, помимо работы, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города приезжают… В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела… Психопат стиснул зубы и молчал, ему

хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал он. — Вы спокойней — как вас учили-то…

— Она ускользает, — пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут? — спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода.

Психопат подумал: «Как суп варится из железок, надо же!»

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте, — велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка всё искала и всё попадала мимо.

— Ускользает… — сказала она.

— Да куда она, к черту, ускользает! — вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли. — Что вам тут, игра в прятушки, что ли? — ускользает… Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку. Он думал: «Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет… Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется».

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. «Как же она училась? — думал он с удивлением. — Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра». Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и всё.

Оголил он в кабинете левую руку, стянул ее

резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: «Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется, — нет, непременно надо в медсестры!»

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

«Буду терпеть, — решил Психопат. — Неделю как-нибудь вытерплю».

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так? — спросил он сквозь зубы. — Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает! — тоже осердилась сестричка.

«Она же еще и сердится!»

— Прекратите! — Психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем. — Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась. Покраснела.

— Ну а как же? — спросила.

— Да как-как!.. — Психопату тут же и жаль ее стало. — Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю… — Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили…

— Я все правильно делаю. — Сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением. — Всем так делаю — ничего…

— Ну, всем, всем… — сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: «В люди вышла». — Ну, давайте, что теперь…

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца… Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство, — сказал он, чуть не плача. — Ну

идиотство же полное!.. Позовите врача.

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача! — требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку и раздражаясь все больше и больше. — Это идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — Он кричал на сестру, и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал, жаловаться пошла, потому что он выражается — «идиотизм».

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат и еще в тот раз, когда врач принимал его.

— Что тут у вас? — Да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный.

Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать…

— Ну-ну, — прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда, — поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету! — закричал ему в бородку Психопат. — Будем мы когда-нибудь хоть уколы-

то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился. — Ну что же, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось… Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! — Психопат показал на сестричку. — Дядя доктор с бородкой… научили бы! Или сами тоже не умеем?

«Дядя доктор» сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь! — сказал он строго. — Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже! — не унимался Психопат. — Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут… черт знает что, конюшня!

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!.. — все кричал Психопат. — А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж… ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с

вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать? — спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эх-х... — Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога: — Ду ю сник инглиш, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи. — Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно: — Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж — снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвала его.

— Работайте, — недовольно сказал доктор. И вышел из кабинетика.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолк-

нувшись на него, даже как будто растерялся: он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите, — сказал Психопат искренне, — я накричал там… Но я не виноват: больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу, — сказал молодой доктор на ходу. — Температура какая сейчас?

— Я не мерил, — ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот… — Доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт. — А возмущаемся… Толстой. При чем здесь Толстой-то? — спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо.

Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал, не мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я… что их не помнят?

— Это вы-то помните? — удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет? — Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен

снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор счел, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так… странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе и в институте. Но при чем здесь Толстой, Господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем? — спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать? — Доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Укол, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!.. — Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата. — Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет. — Психопат поозирался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой, на краешек. — Не

умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается? — спросил ироничный доктор.

— Да во всем. — Психопат прямо и просто смотрел на доктора. — Вы — врач, — продолжал он рассуждать спокойно, — ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы… вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки… Да ведь мне уколы нужны-то! — Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: — У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли, — тоже терпеливо заговорил доктор, — есть такие особенные вены, которые…

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор. — Психопат встал. — Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот… — Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой, — это вот… тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни работы, ни горюшка, — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на «ты» перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я правда хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни… Даже знать-то не хочет, не любит, а сидит — хмурится важно… Та хоть краснеет, а этот… важный. Господи, Боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Когда же мы так пришлепаем-то! Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то… не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так… Обнаглели, что ли? Институт кончил… Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как… А тут все есть, а живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Всё? — спросил доктор жестко. И встал. — Выйдите отсюда. — Он еле сдерживал себя. — Выйдите, я прошу. Я требую!

— «Я требую»!.. — передразнил его Психопат. — Эх-х… А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой… Он требует. Ты потребуй,

чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди! Бородки хотят носить… Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить, — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно…

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю, — сказал учитель, улыбаясь. — А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что… Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь… с неистребимой энергией: кроме работы ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с

архивами переписывается…

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю точно, может, классов восемь… Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой…

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет… А иногда попадет на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот… никто же не просит ходить по деревням — ходит, свои деньги тратит…

— Но у него же покупают… Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот… подвижник. Раздает много книг… В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге… А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже

всяких денег. Тот, видно, послал его… а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал: охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек… Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили…

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают: привыкли… А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал… И спросил:

— Слушай, а как ты думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли, — удивился учитель. — Не ду-

маю. Может быть, «Жилина и Костылина», и то вряд ли. Да нет, такой просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков, — достает. Убеждение там колоссальное… Может, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати… А, говорил уже. — Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил… И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил: — Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?

— Да нет, говорю же тебе… Побеседовали просто в больнице.

Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

Суд

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая гладкая дура, погожим весенним днем заложила у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых, парниковую грядку. Натаскала навоза, доброй землицы… А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посырей и оставила шаять на ночь. Он шаял, шаял, высох и загорелся огнем. И стена загорелась… В общем, банька к утру сгорела. Сгорели еще кое-какие постройки, сарай дровяной, плетень… Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал. Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова навесила занавески на глаза и стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самовозгорание! — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. — Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим, — сказал он. — А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это всегда кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и всё!

Муж Гребенщиковой, тоже агроном, был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню…

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен… как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание…

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то.

— Бывает, когда назём годами преет, да и в куче — слежалый. А у ней за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд

и, стало быть, чего тут еще говорить. Без него все решится.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете…

Шел Ефим на суд, как курва с котелком, — нервничал, вспомнил чего-то, как один раз, в войну, он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего председателя Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе — его ногу. Его тогда легко могли посадить, но сам Митька «спустил на тормозах», в суд не подал, хотя долго после этого пугал: «Подать, что ли, Ефим? А?»

«Ну да, а я сейчас, выходит, иду человека топить, — думал Ефим. — На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична, когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента, мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб

заметней было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел: хватит того, что нашумел с ними тогда, после демобилизации.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое, горюшко! — не желает мамзель с нами здороваться», — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтобы этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима.

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверное, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка…

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»… Соседи ведь.

— Соседи, — поспешил Ефим. — Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога…

— А подаете.

— Дак она же платить нисколь не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз…

— Подожгли его?

— Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во! — изумился Ефим. — Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я — как себя помню, так помню, что ворочал его, — так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом, не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю…

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было… Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивая головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, — продол-

жала Алла Кузьминична.

Судья все кивал головой.

«Сейчас докажут, что я верблюд», — затосковал Ефим.

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету. — Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть», — подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична…

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое, к дьяволу, самовозгорание! Обык-

новенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет… неловко. Договоритесь по-человечески с соседом… Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся и второпях — от благодарности — крепко снизил цену.

— Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке…

— Ну, сколько?

— Рублей двести — двести пятьдесят так… Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора… Что, им откажут, что ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха… Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю!

— Двести пятьдесят рублей, — подытожил судья. — Мой совет, Алла Кузьминична, заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим. И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну и заплатите мне,

как вроде я нанял человека рубить… Рублей шестьдесят берут, ну и кормежка — двадцать, — восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет — даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы…

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем, — резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень — не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо.

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подожгла, — зна-

чит, надо платить.

— Гляди-ко!

— Что ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге… — Ефим всегда скоро пьянел: не закусывал. — Да он, говорит, вот возьмет счас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет — и ты станешь худая…

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но в общем-то ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди!

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова, не совестно? Проть кого пошла?! Да он, грит…

— Хватит лакать-то, обрадовался! — сердито заметила Марья. — Ты бы вот не лакал счас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала…

— Да где?! Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мясном да отнеси. Да скажи «спаси-

бо». А то укостылял и «спасибо» не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал!

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот…»

— Пить со мной он, конечно, не станет: он человек на виду, нельзя… — поразмышлял Ефим.

— Отнеси сальца-то.

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного дать?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну, взял и взял гостинец ребятишкам.

Ефим слазил в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него,

само собой, пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, не сообразишь вовремя».

Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел.

«Люди, люди… Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку, товарищ судья, — позвал Ефим. — Пройдемте-ка в кабинет… От сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают? Неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то?

— У меня, что ли? — не понимал судья.

— Но.

— Есть. А что?

— Нате-ка вот отвезите им — деревенского… С

мяском выбирал, городские с мясом любят. Нашему брату — на физической работе — сала давай, посытнее, а вам — чего?.. — Ефим распутывал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь. — Вам повкусней надо… такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезите…

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом уставился на Ефима.

— Что? — спросил тот. — Я, мол, ребятишкам…

— Не надо, — негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти… А что? Это ж не деньги, деньги я бы…

— Да не надо! Вон отсюда!

Судья повернулся и сам вышел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то… Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут… уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю[1]. Зараза».

[1] Примечания: 1

Скатать шлык — отодрать за волосы, взбить их на голове шапкой *(авт.).*

Степка

И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должон каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай…

— А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

И в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: «пи-у».

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины

вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Сырой ветерок кружится и кружит голову… Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе… Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры — завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего — сойдет.

…В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына… Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но… Ты чо, не узнал?

— Хот!.. Язви тя… Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу… Обнялись, чмокнулись.

— Пришел?

— Пришел.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал… отпустили пораньше.

— Хот… Язви тя!.. — Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать. — А борзя-то живой ишо, — сказал.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. — А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать…

— Шаловый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься…

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан.

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— Ничо, хорошо. Работали.

— В шахтах небось?

— Нет, зачем — лес валили.

— Ну да. — Ермолай кивнул головой. — Дурь-то вся вышла?

— Та-а… — Степан поморщился. — Не в этом дело, тять.

— Ты вот, Степка… — Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. — Понял теперь? Не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться… Тут без этого…

— Не в этом дело, — опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок…

Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немтая-то наша, — заговорил отец, поднимаясь, — чуток замуж не вышла. — Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но? — удивился Степан.

— И смех и грех…

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь!

— Может, зря?

— Чо зря? Зря… Обмануть надумал какой-то — и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу…

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда…

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

— М-эмм, мм, — мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца…

И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— Вот те и «мэ»! — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось, — пояснил он Степану. — Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине… А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе, — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру.

— Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну, хватит, хватит… Ну всё…

— Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну как живешь-то? — спросил.

Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

— Господи-батюшка, Отец Небесный, услыхал

Ты мои молитвы, долетели они до Тебя…

Всем стало как-то не по себе.

— Ты, мать, и радуисся и горюешь — все одинаково, — строго заметил Ермолай. — Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

— Дак я и радуюсь. Не радуюсь, что ли…

— Ну и не реви.

— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан…

Степан улыбнулся ей.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам…

— От тебя, как от печки, пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла?

— А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

— А тебе что, пять надо?

— Я, может, тебя ждала? — Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

— Да нет, — стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь — иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино…

— Воспитывают, — встрял в разговор отец. — Мозги дуракам вправляют.

— Людей интересных много, — продолжал Степан. — Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было…

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове…

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не соврешь. Там всё про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, там в общем-то хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало… А один раз фокусник приезжал. Вот так берёт стакан с водой…

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок…

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился… И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметют, враз решку наведут…

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку… Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивая друг друга, смеялись… Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться… И

чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,

За все мои поступки,

Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,

И этой шуткой сгубила д я себя-а! —

пел Степан.

Песня не понравилась: не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их.

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме — сплошное жулье. — Тихо вы!

— Чо же, сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там несладко.

— И вить дети небось поостава́лись.

— Детей — в приюты…

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. — Я бы им подолы на голову — и ремнем!

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им…

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

…Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал…

Увлеклись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть;
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь: кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели… Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись… И она тоже смеялась — она была счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! — Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу-насилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, — думаю, — мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается — и он вот он, на пороге.

— Господи, Господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. — Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал… И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя сёдня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал — слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести

— долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь.

— Давай, тять…

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает.

— Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали…

— Там дадут — догонют да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверное, явиться Степану в сельсовет — оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся:

— Отстань, ну тя! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

— Ты что, сдурел, парень? — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротнему столбу, усмехнулся.

— Чудно? Ничего…

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя… Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся.

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла… Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок… Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь еще пару лет накинут.

— Ничего… Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили: каждую ночь деревня снится… Хорошо у нас весной, верно?

— Н-да… — раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Две недели.

— Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

— Оружия нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись — те двое-то…

— А им по сколько оставалось?

— По много…

— Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то

куда черт дернул?

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак. — И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата…

— Мэ-мм? — спросила брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм?! — замычала сестра, показывая на

милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но…

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!»

Участковый понял.

— Он… он, — показал на Степана, — сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — Участковый показал на окно и показал, как сбегают. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно — раз, и ушел. И теперь ему будет… — Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! — Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать… И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди…

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее…

— Убери ее, — хрипло попросил Степан. — Убери!

— Как я ее уберу?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом. — Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата… А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул, пошутил… Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами, — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей. — Счас он придет!.. — Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. — Ну, здорова! — Он закрыл дверь на крючок. — Фу-у… Вот каких ты делов натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедем в район, ну вас к черту… Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.

Упорный

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель — невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Моня… Тут, между прочим, надо объяснить, почему — Моня. Его звали — Митька, Дмитрий, но бабка звала его — Митрий, а ласково — Митька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен… Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель… Посмотрел внимательно рисунки тех «вечных двигателей», какие — в разные времена — предлагались… И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого «вечного двигателя», какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли… от всяких трезвых

мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: «Да ладно, будут тут мне...» И теперь он тоже думал: «Да ну!.. Что значит — невозможен»?

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея — то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, — то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню:

больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор, — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо… В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к полости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька

проходил над желобом, где скользит груз… То есть если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось — закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью… Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик… И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей Родины, России, — как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг… И в этой ходьбе — ничего больше, идет, и всё — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов, — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был… Кто был… Моня еще походил по горнице… Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже

теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы: хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру ослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный… И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, — скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал… Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут — прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, посмотрел свой чертежик… Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным

этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы… Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра… Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через

ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире… И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что — есть она и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке… Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал… И сказал заковы-

ристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм… нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать…

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье… А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. — Чего

ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Придеот матушка…

— Ну и… придет — значит, придет. Чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего… Так я: утро вон хорошее, я и… радый.

— Ну-ну… И радуйся, пока молодой. Старость придет — не возрадуесся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу. — Мы еще… сообразим тут! Скажем еще свое «фэ»!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй! — сказал Моня.

— Здравствуй! — не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на «ты».

«Переживешь, — подумал Моня. — Молодой еще».

— Зашел сказать свое «фэ», — продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за «фэ»?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы… И смотрел на инженера снизу. — А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать…

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир… Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что — не рано? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку… Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню… Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель — невозможен. Этак — и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно,

пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил… А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся… ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну вот… — Инженер усмехнулся, качнул головой. — Вот и двигай теперь… Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы… Ты же инженер. Неужели тебе не интересно?

— Нет, — жестко сказал инженер. — Не интересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень… ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился…

— Полтора года.

— Вот видишь… Чего же ты такую бредятину

несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком… Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что — всё: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что — это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи… с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет. — Моня встал. — Вообще за добрые слова…

— Ну вот… — сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно. — И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили…

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел…

— Ну а чего же уж такая… самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер. — Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как

ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и всё. И все махнули рукой…

— Да не махнули рукой, а доказали давно: невоз-мо-жен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то… Ты же восемь с половиной лет учился! Ну… Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал: — Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил, — тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру. — Что ты, как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь… — чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил. — Умеешь же говорить… Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться… Людей смешить. — Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было,

что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная… Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами… Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз — вот он — давит на стержень… Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: «Что же ты восемь с половиной лет делал?» Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется… Двинется. А другим концом он приварен к оси… Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но — вот же, вот!

Моня вскочил со стула, походил по горнице…

Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило — впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте, — сказал Моня. — А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку — что она еще не привела себя в порядок, — прошел к столу.

— Ну-ка, гляньте одну штуку… Я тут поспорил с вашим мужем… Идите-ка сюда.

Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— Ав чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите, — стал объяснять Моня по чертежу, — вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести… Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху… А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек… Он же двинет его?

— Надавит…

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит…

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж… Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться, — сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока… Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену… Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!.. — заговорил он. — Я не понимаю: или вы заучились, или… Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину. — Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько

встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы вращалось? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж… никак. Муж взялся стыдить меня. — И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо… Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления…

— Знаете что, — прервала Моню учительница, — чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой… Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница. — Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась…

— Мне одеться нужно…

— А-а, — догадался Моня. — Ну конечно. Я на крыльце подожду. — Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас, — сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню… Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!.. — сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. — Видите, как все продумано! А вы говорите… — И повернулся к Моне. И потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал «уперу») ваш желоб и ваш груз… А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот… — Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его «прикрепил» стержень. — Вот сюда мы его присобачим… Так? — Гекман был очень доволен. — Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину… Во-от. — Учитель и пружину изобразил. — А другим концом…

— Я уже такой двигатель видел в книге, — оста-

новил Моня учителя. — Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель. — А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы…

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно, — груз так же одинаково давит и на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — воскликнул он. — Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить, — а на стержень падает. И это — одинаково?!

Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. — Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство…

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал до-

мой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

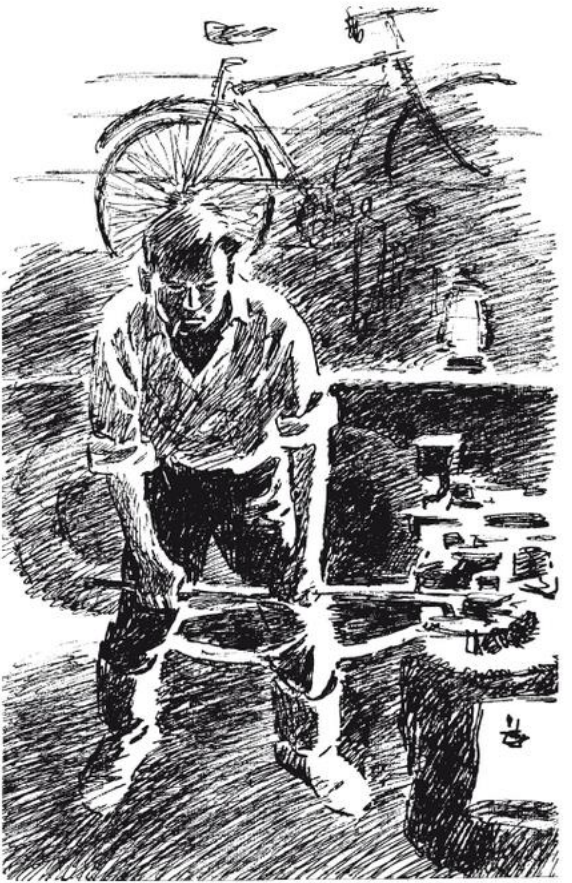
Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

…И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами… Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил… И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками… Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же

уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал… Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

…Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега… Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.



Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча… И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера.

Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и

увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня. — Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла… Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то… Крутится. Всю ночь крутилось… И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это… фокус какой-нибудь, — все же не верил он. — Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае… на полу: крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да, — сказал Моня, — но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его — и вот… сколько уже сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерское звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь… И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в

сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у! — сказал инженер. — Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини, — сказал Моня, довольный. — Пойдем — у меня дома коньячишко есть… сохранился. Выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся:

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату… Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи, — сказал Моня. — Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись, — пригласил Моня. — Я сейчас организую…

— Да ты… ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом. — Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну ладно, — согласился Моня. — Я хотел хоть пирожок какой-нибудь… Ну ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер

опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал… Всю ночь, наверное, трудился?

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил… Дело не в этом, — заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством, — дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно, — сказал инженер. — В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга… Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок, — посоветовал инженер. — Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут — учиться, учиться, — недовольно сказал Моня. — Вот нашли одну тему:

учиться, учиться… А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся… и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю… вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

— Шагай вольнее, — сказала она, — все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики… Вам спать да спать надо.

— Ав старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь… Где-нибудь.

— Рази что там…

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным: всходило солнце. Село пробудилось; хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались

люди, уже где-то и покрикивали друг на друга… Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту… Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди… Здравствуйте!

Стенька Разин

Его звали — Васёка. Васёка имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос… и невозможный характер. Он был очень странный парень — Васёка.

Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет.

— Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь? — интересовались в конторе.

Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

— Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

— Опять? — спрашивали его.

— Что — опять?

— Уволился?

— Так точно! — Васёка козырял по-военному. — Еще вопросы будут?

— Куклы пошел делать? Хэх…

На эту тему — о куклах — Васёка ни с кем не разговаривал.

Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил:

— Всё.

— Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васёка пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать — куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

— Поедешь на бухгалтера учиться?

— Можно.

— Только… это очень серьезно!

— К чему эти возгласы?

«Дебет… Кредит… Приход… Расход… Заход… Обход… — И деньги! деньги! деньги!..»

Васёка продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

— Смехота! — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васёка работал молотобойцем.

И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Всё!

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Трепло, — сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Васёка с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прошу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой.

Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего.

Васёка остался в кузнице.

— Ты, Васёка, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч понимает.

— Принеси мне. Я гляну.

На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

— Вот.

Кузнец развернул тряпку… и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами, — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага. — Васёка глотнул пересохшим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю.

— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

— Песню поет.

— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?

— Рассказывали.

Кузнец вернул Васёке смолокура.

— Похожий.

— Это что! — воскликнул Васёка, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!

— Все смолокуры?

— Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка… еще солдат, раненный. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

— А у кого ты учился?

— А сам… ни у кого.

— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например…

— Я все про людей знаю. — Васёка гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.

— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся.

— Скоро Стеньку сделаю… поглядишь.

— Смеются над тобой люди.

— Это ничего. — Васёка высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

— Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

— А что?

— Совестно небось так говорить.

— Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.

— Смолокур-то? Про Ермака Тимофеевича.

— А артистку ты где видел?

— В кинофильме. — Васёка прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.

— А они тебя?

Васёка слегка покраснел.

— Тут я затрудняюсь тебе сказать.

— Хэ!.. — Кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Васёка.

…С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками — длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу — на манер марша — подпевал:

Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки – донышко,
Три копейки – бок…

— Здравствуй, Васёка! — приветствовали его.

— Здорово, — отвечал Васёка. И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее

время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— …Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу… чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу… и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». — «Бери!» — «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе: «В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек… душа у тебя была.

Васёка, с повлажневшими глазами, слушал.

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицал он. — В Волгу взял и кинул…

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький ста-

ричок с маленькой сухой головой, кричал: — Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И всё.

…Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал… швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку!

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два — смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

— Василий Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — Так здоровался Захарыч — «по-казацки».

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Василий… — Захарыч садился на стул, — ты — мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай…

Васёка подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он не про Ермака поет, — говорил он. — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. — И он неожиданно сильным красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!

Воля вольная моя.

Воля – сокол в поднебесье,

Воля – милые края…

У Васёки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать… всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для

людей, чтобы успокоиться.

— Захарыч… милый, — шептал Васёка побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч… Я не могу больше…

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Васёка уходил к Стеньке.

…День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.

— Захарыч! Всё… иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку…

Вот что было на верстаке.

…Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались, он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию, но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали

руки… Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому… Но чем-то ударили по голове тяжелым… Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

«Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам…

Захарыч долго стоял над работой Васёки… Не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но… не надо.

— Ну как, Захарыч?

— Это… Никак. — Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. — Как они его… а? За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады! — Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васёка мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч…

— Что не надо-то?! — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..

Васёка сел на табуретку и тоже заплакал — зло

и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж… их вдвоем с братом, — бормотал Захарыч. — Забыл я тебе сказать… Но ничего… ничего, паря. Ах, гады!..

— И брата?

— И брата… Фролом звали. Вместе их… Но брат — тот… Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

Космос, нервная система и шмат сала

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лёжку. Матерился в бога.

— Как черти копытьями толкут, в господа мать! Кончаюсь…

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

— Не надо было напиваться.

— Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить: все малость полегче.

— А чо же мне делать, если не напиться? Должон я хоть раз в месяц отметиться…

— Зачем?

— Што я, не человек, што ли?

— Хм… Рассуждения — как при крепостном праве. — Юрка откинулся на спинку венского

стула, насмешливо посмотрел на хозяина. — Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили.

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— Они учились. В книгах написано…

— В книгах… А они, случайно, не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Отравление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

— Доучились!

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу… — Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками

голову:

— О-о… опять накатило! Все, мать-перемать…

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет: сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди… Кадки, кадушки, туески, бочонки — целый склад. В кладовке — полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные! Тут ли счас не жить!» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить

десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе отдельно, Юрка — себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам… Апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть, а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

— На стипендию. Учатся ребята… У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться… «Что тянет»! А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

— Што, они много шибко получают, што ль?

— Кто? Хирурги?

— Но.

— Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно…

— Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по сколько зашибают! Да ишо где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного — деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери… Накипает раздражение против старика.

— Проживем! — резко говорит он. — Никому до этого не касается.

— Знамо дело, — соглашается старик. — Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету, как… — Он не подберет подходящего слова — как кто. — Жили раньше без всякого ученья — ничо, Бог миловал: без хлебушка не

сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то… ирапланов понаделали — дерьма-то!

— А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать?

— А чем плохо на телеге? А еслив поехал, так знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться: он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое: за аэропланы, учение, город, книги, кино…

Странно, но старик в Бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать, кликуши, — говорит он про верующих. — Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед! — сказал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

— Ставай, проклятый заклеменный!..[2] — И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: — Ты ба, наверно, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не «проклятый», а — «проклятьем», — поправил он.

— Насчет уклона-то… смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о Боге:

— Чо у вас говорят про Его?

— Про кого?

— Про Бога.

— Да ничего не говорят — нету Его.

— А почему тогда столько людей молются?

— А почему ты то и дело поминаешь Его? Ты же не веришь…

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в Бога.

---

[2] Примечания: 2

Искаж. от «Вставай, проклятьем заклейменный…» — первая строка коммунистического гимна «Интернационал».

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз Его все споминают, стало быть, и мне можно.

— Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

...– Отлегло малость, в креста мать, — говорит старик. — Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать: надо выучить уроки.

— Про кого счас проходишь?

— Астрономию, — коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

— Это про кого?

— Космос. Куда наши космонавты летают.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин... Много уж.

— А чего они туда лётают? Зачем?

— Привет! — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. — Ну, ты даешь! А что они, будут лучше на печке лежать?

— Чо ты привязался с этой печкой? — обиделся старик. — Доживи до моих годов, тогда вякай.

— Я не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу...

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учут? Чтоб ты на стариков злился?

— Ну, во-первых: освоение космоса — это… надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

— Они такие же, как мы?

— Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — Старик заинтересован рассказом. — Непрошеный гость, говорят, хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, — может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое Царство Божие, которое религия называет — рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить — лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет — и через какое-то время икс ты у дочери… А внук… ему сколько?

— Восьмой, однако.

— Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить.

— Ну, это уж ты… приврал!

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем

сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство…

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство…

— «Средство»!.. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство — и то ладно. А то башка — как этот… как бачок из-под самогона.

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

— У вас только одно на языке: будет! будет!.. — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шестнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чо ты ему сделаешь?

— Вырежу чего-нибудь.

— Дак если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь?

— Я на такие… дремучие вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

— Нечего?.. А вот эти люди!.. — сгреб кучку книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего

отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего: вранье одно.

— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Холера?

— Ну, холера.

— Была. У нас в двадцать…

— Где она сейчас? Есть?

— Не приведи господи! Может, будет ишо…

— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер. А сейчас — сорок уколов, и всё, человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас пожалуйста: полгода — и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»!.. Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Допустим. Собака — это ладно. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

— Укус был не смертельный. Вот и всё.

— Иди, подставь: пусть она тебя разок чикнет

куда-нибудь.

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка!

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги. — Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает?

— Как это?

— Так. «Вот, — говорит, — сейчас у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— Они пишут?

— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали. — У Юрки у самого защипало глаза от слез.

На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?..

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили… «Раньше было! Раньше было»!.. Вот так было раньше?! — Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. — Где она? Ее

же нет здесь!

— Кого?

— Этой… кто поет-то.

— Дак это по проводам…

— Это — радиоволны! «По проводам»! По проводам — это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видел: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.

Юрка махнул рукой:

— Тебе не втолковать! Мне надо уроки учить. Всё.

— Ну и учи.

— А ты меня отрываешь. — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

— Он есть на карточке? — спросил старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

— Старенький уж был.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как… некоторые. — Юрка взял книгу. — И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

— С похмелья, я без Павлова знаю.

— С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она… распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого. — Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. — Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте? Пошел домой… И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

— Я хуже маяться буду.

— Раз помаешься, два, три — потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальца-

ми цигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

— Ох, мать твою… Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?» — подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

— Хлеб-то есть? — спросил он строго.

— Есть. А что?

— На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками… пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

— Мне же нечем отдавать будет: у нас нету…

— Ешь. Там чайник в печке — ишо горячий, наверно… Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть.

Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

— Как сало-то?

— Вери вел! Первый сорт.

— Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью — получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот — маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любют. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать… Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь…

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

— Ох, здорово! Спасибо.

— Наелся?

— Ага. — Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. — А это куда?

— Вынеси в сенцы, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

— Теперь голова лучше будет соображать! А то… это… сидишь — маленько кружится.

— Ну вот, — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. — Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Может, я пойду куплю четвертинку? — предложил Юрка.

Дед помолчал.

— Ладно… пройдет так. Потом, попозже, курям посыпешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

— Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее… галопом. — Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы — вечером можно на лыжах покататься.

— А у его, чо же, родных-то никого, что ли, не было? — спросил вдруг старик.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого еслив бы не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

— Конечно, — согласился он. — Одному плохо.

Нечаянный выстрел

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рожденья: тонкая, искривленная… висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех — и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки — и как играл! — отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится — бац! — полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких… Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием… Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

— Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

— Так, — сказал он. И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы — выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми, — Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки… Весь день только ее и слышно по всей окраинке.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот… была бы не такая красивая… жениться бы на ней, и всё». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и

выводила на крыльцо.

— Глашка! — кричал он девушке. — Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!

— Не берет никто, Коля! — отвечала словоохотливая Глашка. — Я уж давно собралась!

«Ишь ты… какая», — думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.



А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воду рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами… И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце — он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его: не один раз охотились и рыбачили вместе.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю…

— Капсюлей нету лишних? У меня все кончились.

— Капсюлей? Надо посмотреть. — Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей. — На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил… Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

— Спасибо за капсюли.

— На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас… — вздохнул фельдшер и почесал лысину. — Но… но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

— На капсюли-то, — сказал он фельдшеру. — У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком».

— Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

— Посмотри ногу… хочу протез попробовать. Надоело так.

— А-а! — Фельдшер глянул Кольке в глаза… и сам смутился. — Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу.

— Здесь чувствуешь?

— Чувствую.

— А здесь?

— Ну-ка еще… Чувствую.

— Пошевели. Еще. А теперь — вбок. Подвигай, подвигай. Так. — Фельдшер выпрямился. — Вооб-

ще-то… я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

— Понимаю.

— Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу — в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

— Поеду ногу отрублю.

— То есть как? — Андрей вытаращил глаза.

— Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась культышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить культышкой под одеялом — тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки… Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск.

Домой явился через полмесяца… С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кольку «без ноги». Колька засмеялся…

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий

лаком протез.

— Вот… нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

— Блестит весь… Господи! — сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

— Добрая штука, — заключил он. — Не то что у деда Кузьмы — деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили — и Колька верил, — что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

— Когда попробуешь? — спросил отец, взвешивая протез на руке.

— Подживет нога хорошенько — попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы.

Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать.

Стихло во всей деревне.

Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел. Закурил… Курил и

смотрел на протез.

— Ничего себе… ноженька. Хэх! — Улыбнулся.

Старательно погасил окурок. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать… подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

— Ничего. Придется, конечно, поработать, — сказал сам себе.

Еще одна попытка — нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

— Ну ничего… Паразитка. С непривычки… — Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

— Перекурим это дело. — Он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова — нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке,

над кроватью… Он поднялся… И снова стал пробовать двигать левой ногой.

— Пойдешь, милая. Ну-ка… Оп-п! Паразитка! — тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез.

— А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

— Гадина, — сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза… — Ах ты гадство, — тихо повторил он. И снял со стенки ружье…

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

— Сейчас лучше бы не надо, — пояснил приезжему доктор. — Сейчас он…

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный… Бледный, незнакомый какой-то — как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате

пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

— Попросил бы меня — я бы попал куда надо… Чтоб сразу уж… — Голос отца подсекся… Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью.

Колька скосил на него глаза… Пошевелил губами…

— Болит? — спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

— Эх… — Отец поднялся и пошел из палаты.

— Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен…

Отец обезумел от горя: взял доктора за грудки.

— А ты для чего здесь? Организм!..

— Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял… и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня…

Мать Кольки лежала в постели: захворала с горя.

— Как он там? — слабым голосом спросила она

мужа, когда тот вошел в избу.

— Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю. — Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

— Господи, Господи…

— Господи, Господи!.. Только и знаешь своего Господа! Одного ребенка не могла родить как следует… с двумя ногами! Я этому твоему Господу шею сейчас сверну. — Андрей снял с божницы икону Николая Угодника и трахнул ее об пол. — Вот ему! Гад такой!

— Андрюша!.. Господи… Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная… Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

— Какую Глашку?

— Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

— Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

— Он поправится. — Андрей шаркнул ладонью по щеке. — Если бы ему сказать… кхе… он бы поправился. И за такого, мол, пойду… Врач говорит: сам захочет если… Соври ему. А?

Глашка заплакала.

— Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж…

Андрей поднялся.

— Ты только не реви… Моду взяли: чуть чего — так реветь сразу. Не можешь, — значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя.

Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

— Был сейчас дома… — Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена… поправил голенище сапога. — К Глашке зашел по пути…

Колька повел на отца удивленные глаза.

— Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него…

Колька слабо зарумянился в скулах… закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

— Сынок, — позвал он.

— Не надо, — одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. — Не ври, тятя… а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты сгорбившись.

Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу.

— Скажу я ему, дядя Андрей… пусть! Скажу, что согласная, — пусть поправляется.

— Не надо, — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. — Он так поправится. Врать будем — хуже.

…Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах — сосед по палате попросил посмотреть.

В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, до-горяча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

— Не зря он так орет, — сказал кто-то. — Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

— А этот куда смотрел, который орет сейчас?

— Этот?.. Он в командировке был в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в по-

душку.

Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

— Нечаянно. — И склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу. Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

— Как там, дома? — спрашивал Колька.

— Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то… — Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну.

— Это маятник называется.

— До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

— Делают. На заводе всё делают.

— Меня, например, хоть убей — ни в жизнь не сделал бы такое!

Колька улыбнулся:

— То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался… гладил ладонью колено и говорил:

— Да… там — конечно… Там умеют. Там все умеют.

Ваня, ты как здесь?!

У Проньки Лагутина в городе Н-ске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры, покупал им пару бутылок красного вина и учил:

— Вы, главное, тут… смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе: «Вы, мол, мне глянетесь, то-се, разрешите вас под ручку», — вы его по руке: «Не лезь! Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме».

В один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд уходил вечером.

Походил, поглазел, попил воды из автоматов… И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

— Молодой человек, простите, пожалуйста. — Подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите, я займу минутку вашего времени?

— Зачем? — спросил Пронька.

Женщина присела на скамейку.

— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции…

— Кино фотографируете?

— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого… вашего типа.

— А какой у меня тип?

— Ну… простой… Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

— Так, понимаю.

— Вы где работаете?

— Я приезжий, к сестре приезжал…

— А когда уезжаете?

— Сегодня.

— М-м… тогда, к сожалению, ничего не выйдет. А у себя… в селе, да?..

— Но.

— У себя в селе где работаете?

— Трактористом.

— Нам нужно, чтоб вы по крайней мере неделю побыли здесь. Это нельзя?

— Трудно. Сейчас самое такое время.

— Понимаю. Жаль. Извините, пожалуйста. — Женщина пошла было, но вернулась. — А знаете, у вас есть минут двадцать времени?

— Есть.

— Я хочу показать вас режиссеру… для… как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем? Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

— Пошли.

По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят…

— А этот тип зачем приезжает в город?

— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

— Интересно, — сказал Пронька. — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко с осени хочу перебрать. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребятишки — повернуться негде будет. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

— Вы несколько рановато об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь?

— Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что…

— Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти…

— Вы же сказали, что я как раз тот самый тип!

— Это решает режиссер!

Режиссер, худощавый мужчина лет за пять-

десят, с живыми умными глазами, очень приветливо встретил Проньку. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проньки.

— Добре, — молвил режиссер. — Если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем… поиграть немного.

Женщина вышла.

— Как вас зовут, я забыл?

— Прокопий. — Пронька встал.

— Сидите, сидите. Я тоже сяду. — Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Проньку. — Тракторист?

— Ага.

— Любите кино?

— Ничего. Редко, правда, бывать приходится.

— Что так?

— Да ведь… летом, почесть, все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем…

— Что это такое?

— На лесозаготовки. Женатые-то дома, на ремонте, а холостежь — вроде меня — на кубы.

— Так, так… Вот какое дело, Прокопий. Есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы.

Находит знакомых. А знакомство такое… шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?

— Понятно.

— Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства… и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?

— А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не ндравится?

— Ну… бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. — Режиссер помолчал, глядя на Проньку. — Это непонятно?

— Понятно. Темнят.

— Темнят, да. Попробуем?.. Слова на ходу придумаем. А?

— А как?

— Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя, как бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий, Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его — Иван. Давайте!

Пронька вышел из номера… и вошел снова.

— Здравствуйте.

— Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз.

Пронька вышел и постучал в дверь.

— Да!

Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.

— А где «здравствуйте»?

— Я же здоровался.

— Мы же снова начали.

— Снова, да?

Пронька вышел и постучался.

— Да!

— Здравствуйте!

— О, Иван! Входите, входите, — «обрадовался» режиссер. — Проходите же! Каким ветром?

Пронька заулыбался.

— Привет! — Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?

— А чего ты радуешься? — спросил режиссер.

— Тебя увидел… Ты же тоже обрадовался.

— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался? Дошло?

— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Проньке.

— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Пронька опять вышел и постучался.

Все повторилось.

— Ну, как житуха? — спросил Пронька, улыбаясь.

— Да так себе… А ты что, по делам в город?

— Нет, совсем.

— Как — совсем?

— Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Пронька выбился из игры.

— Опять снова?

— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а… ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

— Ага.

— Ну и как?

— Что?

— А где жить будешь?

— У тебя. Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

— Что-то не выходит у нас… Сразу быка за рога

взяли, так не годится, — сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду — тоже радуешься. Попробуем?

— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово! Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по бревнышку.

— Почему разнесут?

— От удивления. Меня же на руках вынесут!..

— М-да… Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Пронька вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

— Ваня! Ты как здесь?! — воскликнул режиссер.

— А тебя как зовут?

— Ну, допустим… Николай Петрович.

— Давай снова, — скомандовал Пронька. — Говори: «Ваня, ты как здесь?!»

— Ваня, ты как здесь?!

— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» — Пронька показал, как

надо сделать. — Вот так.

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился:

— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками.

Пронька сиял.

— Здорово, Петрович! Как житуха?

— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя… Ну хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. Ваня, ты как здесь?!

— Хочу перебраться в город.

— Совсем?

— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться.

— А жить где будешь? — сполз с «радостного» тона Николай Петрович.

— У тебя. — Проньку не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.

— Да, но у меня тесновато, Иван…

— Проживем! В тесноте — не в обиде.

— Но я же уже недоволен, Иван… то есть Проня! — вышел из терпения режиссер. — Разве не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего

не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общагу.

— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?..

— Ты родом откуда? — перебил режиссер.

— Из Колунды.

— А хотел бы действительно в городе остаться?

— Черт ее… — Пронька помолчал. — Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

— Как тебе сказать… — Режиссеру не хотелось огорчать Проньку. — У нас другой парень написан. Вот есть сценарий… — Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся: — А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город…

— Да нет, если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать.

— Ну а если бы?

— Что?

— Приехал ты к знакомым…

— Ну, приехал… «Здрасте!» — «Здрасте!» — «Вот и я пожаловал». — «Зачем?» — «Хочу на фабрику устроиться…»

— Ну?

— Всё.

— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель…

— Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно. Как тут быть?

— Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?»

— А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!» А сами недовольны, ты это прекрасно понимаешь. Как быть?

— Не знаю. А как там написано? — Пронька кивнул на сценарий.

— Да тут… иначе. Ну а притвориться бы ты смог? Ну-ка давай попробуем? Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только…

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку:

— Ну… ну… Да почему?! Я же говорил!.. Я показывал какие! А, черт!.. Сейчас спущусь. Иду. Проня, подожди пять минут. Там у нас путаница вышла…

— Не слушаются? — поинтересовался Пронька.

— Кого? Меня?

— Но.

Режиссер засмеялся:

— Да нет, ничего!.. Я скоро. — Режиссер вышел.

Пронька закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

— Ну, как у вас?

— Никак.

— Что?

— Не выходит. Там другой написан.

— Режиссер просил подождать?

— Ага.

— Значит, подождите. — Женщина порылась в стопке сценариев, взяла один… — Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод.

Она сунула Проньке сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса к Проньке больше не было. И вообще Проньке стало почему-то тоскливо. Представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь — занимать места в автобусах… А его не будет там, и он не заорет весело на бегу: «Давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь!» И не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни. Не пахнёт кизячным

дымом. Не встретит мать на пороге привычным: «Приехал. Как она там?» И не ответит он, как привык отвечать: «Все в порядке». — «Ну, слава богу».

Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

«Не выйдет у нас.

Лагутин Прокопий» И ушел.

Вянет, пропадает

— Идет! — крикнул Славка. — Гусь-Хрустальный идет!

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать. — Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь… поновей.

— Какую? Может, марш?

— Вот какую-то недавно учил?..

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колени фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять. — Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает — переставит. — Пора… Сегодня у нас… што? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Да… — вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить: она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж… В ушах звенит.



Это была несусветная ложь; Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело, — сказал дядя Володя. — В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается…

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

«Когда говорила?! О, Боже милостивый!.. Что с ней?»

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка!

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж, Господи…

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то… — Мать строго посмотрела на Славку. — Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду: «Учи! Тебе надо-то — не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме… Нас-то много они слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать. — Алименты свои плотит — и довольный. А тут рости, как знаешь…

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко… и те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он…

— Ты пришел из школы: сразу — раз! — за уроки. Уроки приготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка…»

— Говорить мало, — заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

— Ху-у… Всё. Пропустили по поводу воскресенья, и будет. — Дядя Володя закурил. — Я ведь пил, крепко пил…

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили… Взяли себя в руки.

— Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего, — откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь — пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывает дядя Володя. — А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают. В ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?» Х-хе…

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и всё, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа — шутка в деле! Он же

не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!»

— Сердешный… — вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку.

— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. «Заполним вакум», как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. «Не знаю, — говорит, — чем вакум заполнить».

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась:

— Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна… Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?» К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— По родной речи. Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е два, Е четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

— А зачем говорят-то «Е два, Е четыре»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

— У нас дядя Иван тоже шутит, — сказал он. — Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь».

Славка засмеялся.

— Кто это?

— Он завхозом у нас.

— А-а… Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, — недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

— Не переваривaю этих соображал, — продолжал дядя Володя. — Живут — небо коптят.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — женато как же?

— Жена-то? — Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да. Реагировала-то.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! — Дядя

Володя вышел из трудного положения и был доволен. — Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

— Как это? — не понял Славка.

— Горшок об горшок-то? — Дядя Володя снисходительно улыбнулся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался ба… Ох, пил!.. Спомнить страшно.

— Не думаете сходиться-то? — спросила мать.

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка… — Дядя Володя думал, сморщившись. — Так… А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивала мать.

— Проведую. — Дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет счас небось?

— Жена-то? Тайно, конешно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка… Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь… Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка… Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские, раздвижные… превосходные! Отпускные получу — обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу.

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже? — спросил Славка.

— Волчья небось твердая, — сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из

волчьих дохй шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет, — сказал дядя Володя. — Вот где солнышко село, небо зеленоватое — значит, хороший день будет.

— Зима скоро… — вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога…

— Ну, до свиданья.

— До свиданья…

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Славка. — Не проходили еще.

— Научись. Сильная вещь. На вечера будут приглашать… Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Руль, — с досадой сказала мать, глядя в окно. — Чего ходит?..

— Тоска, — сказал Славка. — Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

— Чего ходить тогда? — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку. — Нечего и ходить тогда. Правда что Гусь-Хрустальный.

Чудик

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая… на подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю?

— Да вот же все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами. — Все тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!.. — Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. — Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопросы: куда это он собрался? — Проветриться надо! — При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам: они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников… Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?»

Нах-хал!

Шляпа поддакивала:

— Да, да… Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать… Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане… Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить

себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа… И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки… Входили и выходили разные люди, рассказывали разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже… Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится… А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете,

каким надо быть грубым, бестактным…

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой, деревня Раменское.

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится?» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», — решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще

он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа, чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же, — сказал он соседу.

Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уж земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места,

боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему надо обязательно руками трогать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда

микробов занес? У меня их нету…

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка»

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали…

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал:

«Приземлились. Все в порядке. Васятка»

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий».

— «Приземлились»… Вы что, космонавт, что ли?

— Ну ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

…Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников… О том, что должна еще быть сно-

ха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а-а…

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это… там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца…

— А помнишь?.. — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж… это… с поцелуями…

— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик. — Как ты меня…

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились!

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену:

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За что? Ведь невзлюбила она тебя… А за что?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что, действительно?

— А вот за то, что ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом… горно… Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— Ав чем дело вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его…

— Знал, как же.

— Уж там куда деревня!.. А пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести…

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори… Не надо.

— Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными…

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду… начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть! Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот… Детей замучила, дура, одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи: сразу ругань.

— Ммх!.. — опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не

понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — подумал Чудик. — Разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, понизу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье! Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка! — Он хотел мира со снохой. — Ребенок-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», — думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну что тут!.. Да ладно… Сонь… Ладно уж…

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь…

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и всё!

Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. — Надо было догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот… — сказал он. — Это… опять расшуме-

лась… Коляску-то… не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул… И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а, тополя-а…

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

Миль пардон, мадам!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вот Бронька Пупков… он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. — И как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков — еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался — и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить — отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался,

его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился… И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и

Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

…Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал…

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да… Деладелишки… — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза… И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер… Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну, ерунда какая-то…

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга. Вот так: нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете… В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на…

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем…

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне

народ знаете какой… Пойдут трепать языком.

— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть. — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать… Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату… А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая: в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи». Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтобы я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала… Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает

генерал.

Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться, — на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, там высшего образования не потребуется.

А вот если, говорит, ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские… Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня…

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году…

— Где это? Куда сопровождали?

— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вот у нас — Ванька Пупков, — хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает…

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну, и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. — Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев… Один — в звании старшины, а я — рядовой. «Ну-ка, — говорю, — товарищ старшина, подай-ка мне сапоги». Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку…

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться: подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только… — Бронька шевелил губами — считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале нава-

лом. Сам беру разбавляю как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю: сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С Богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет: забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов… Я быстро ориентируюсь: где Гитлер?

Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну…

— Сердце вот тут… горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять, — в усики. Я делаю рукой: «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут… вышел он. Меня как током дернуло… Я вспомнил свою далекую родину… Мать с отцом… Жены у меня тогда еще не было… — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху… — Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти… С медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

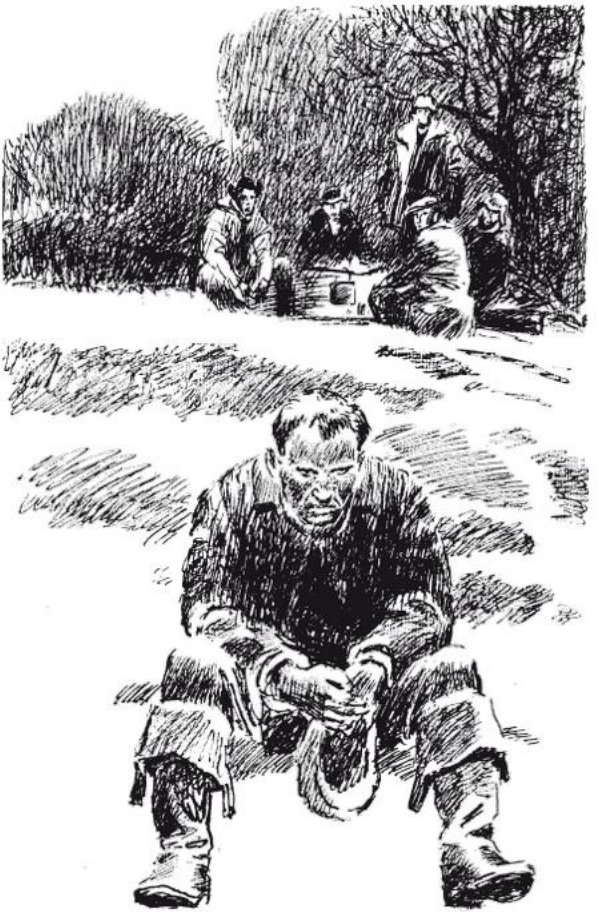
— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»… Он улыбался. И тут я рванул пакет… Смеешься, гад! Дак получай

за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина… И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил…

Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.



Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька.

Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

…Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего, как пес побитый, плетешься? Опять!..

— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории…

— Не имеют права: это не печатная работа.

Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему… все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам… Счас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился… И дня два пил дома. За водкой в лавку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай, — виновато и зло говорил сыну. — Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры… Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце — чтоб «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малось изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

Из детских лет Ивана Попова
Первое знакомство с городом

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот, назло отчиму, папке назло, — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, — я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел… Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами. Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил…

Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму… Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька… Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери…

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком: мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку…

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, — не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой Бог, не буду.

— Ну смотри.

…И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне то-

же нравится ехать. Вольно кругом, просторно… Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки… Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер — зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок — варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум… Теперь не сидеть мне на ее берегах с

удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины… Не заводиться с превеликим трудом — так что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь — бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну всё?

— Всё вроде…

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, — в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда: там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку — по пояс… Да еще сорвешься с осклизлого валу-

на да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же — поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и всё. И мама тоже… Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы… Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

…Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц… Раза два он только спрашивал у встреч-

ных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный… Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил… Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдержала мама.

Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро! — бодрится папка. — Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь: все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Счас скажу, что приехали…

— Скорей там, — велит мама.

— Да скоро! Скажу только…

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и

сам тоже начинаю бояться. Одной Тале — хоть бы хны!

— Мам, мы тут жить станем?

— Тут, доченька… Заехали!

— Уговори ты его назад, домой, — советую я.

— Да теперь уж… Вот дура-то я, дура!

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка… С ним какой-то мужик.

— Здравствуйте, — не очень приветливо говорит мужик. — Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

— Ну заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка… с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди… Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал:

— Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?!

Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то — с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он сколько влезет — потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.

— Завез, да еще недовольный…

— Ну и давай теперь на каждом шагу: «Глядика! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

— Ну и не одергивай каждый раз парнишку!

— Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь…

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу: лягалась… Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице — группами — молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

— Не знаю, деда.

— А-а!.. — И начинает: — Интре… интренацал… — И потом только одолевает: — Ин-тер-наци-о-нал!

Мы покатываемся со смеху: мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается дедушка. — Ну валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка… Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то.

Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова — бор, это страшновато. Да и что там, в бору-то? — грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали… Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату

— посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь… и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу, взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она. — Дай-ка мне.

— Всю, что ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

— Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стал есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь… Услышали:

— Уже пакостить начали? — С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. — Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный Бог, не вру — я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая… Нехорошо так делать. Это — воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью…

Что-то я вконец растерялся… Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О какой! — удивилась хозяйка. — Хитрит

еще. — И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Счас, давай только доедим, — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а — сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка… Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. — Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды.

Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю… И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси

снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала: хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние.

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню… Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

Мастер

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце… И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе — машины? Тогда иди заведи меня: я заглох. Но сзади подходи осторожней: лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, «остолбенело все на свете», и он транжирит свои «лошадиные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

— Зачем же, Семка? — спрашивали.

— Затем, что так — хоть какой-то смысл есть. Я вот нарежусь, так? И неделю хожу — вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас… Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену — просто не замечал ее.

— Погоди, Семка, на запой наладишься! — стращали его. — Они все так, запойники-то, месяц не пьет, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

— Ну, так, ладно, — рассуждал Семка, — я пью, вы — нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые…

— У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, кото-

рый отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет… Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме — шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял… Лежат кошма и тулуп — и всё. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили…

Сельские люди только головами качали:

— Делать нечего дуракам!

— Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки… Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он

стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу… По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь: внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжкой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы, две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно… Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу…

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега… Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уже истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он вели́чил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия, — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну хорошо, красиво, волнует, радует… Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь

радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй. Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: «Ладно, и так сойдет».

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства: не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном… Семка с трудом про-

тиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви… Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу, вдоль стен, идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческий высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладки, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца…

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: за-

чем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо: он ждал.

— Ты знаешь талицкую церкву? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на «ты». — Талица Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район… Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы… Думаю, при Алексее Михайловиче еще… Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся:

— Слава богу, хоть стоит пока! Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь…

— Ты это к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по…

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У

меня тоже есть начальство… Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заволновался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко: такая красота пропадает! Ведь сейчас же восстанавливают…

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал…

— А я дам. Ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь…

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек… умница… Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как — от себя? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню, — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.

…Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

— Звонил мне отец Герасим… Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чаю.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся:

— Красивая церковь, я ее знаю! При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских… Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские…

— Ведь до чего додумался!..

И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особый камень, наверно с примесью слюды… И если еще оранжевые стекла всадить…

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только… не разрешат мне ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: «Почему?» А они меня спросят: «А зачем?» Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю…

— Да в Талице-то мало…

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи…

— Вот музеи-то как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии…

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами… даже лучше…

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут — пишите в Москву… Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию…

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай бог! Домина — комнат, наверно, из восьми… Во дворе «Волга» стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что

действительно лучше всего иметь дело с родной советской властью. Эти попы темнят чего-то… И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом… Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь.

Когда он отделывал здесь «избу 16-го века», он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть «избу». Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась. — Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча… Охота глянуть…

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

«По-моему, он дома, — догадался Семка. — И, по-моему, у них идет крупный разговор».

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: «Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет», и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и

довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка. — Идут.

— Идут! — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет… Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то! — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один… насчет церкви…

— Какой церкви?

— У нас — не у нас, в Талице — есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы… Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне

Талица церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать — она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм… — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом…

— Сейчас, сейчас… У нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте, — предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору. Игорь

Александрович — впереди, Семка — сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы — из Чебровки, Талица от нас…

— Сейчас, сейчас, — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

«Здесь вообще-то время зря не теряют», — подумал Семка.

Вошли в кабинет… Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Всё? — спросил Игорь Александрович.

— Пока всё.

— Ну, слушайте. «Талицкая церковь, Н-ской области, Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые — девя-

ностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга…» — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит… «погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году».

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся…

— А вы внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил…

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок…

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок… Там, если обратите внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая? — попытался он упорствовать.

— Красивая, да. — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже…

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я что-то не верю… — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века… Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам…

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте… И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит — значит, не хочет говорить об этом, значит — зачем спрашивать?

Обида

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человечества, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете… роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно… Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной?» — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем

сходим.

— В кои-то веки! — сказала озабоченная «мамка». — Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми — я ребятишкам поджарю.

И Сашка с Машей пошли в «гагазинчик».

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там, за прилавком, тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей, тете, показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что — ничего? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю…

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик…

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого «Исусика». Черт возьми совсем, где-то ты, Александр Иванович, уважаемый человек, а тут… Но он даже не успел и подумать-то так — обида толкнулась в грудь, как кулаком дали.

— Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась презрительно:

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да? И сколько плотют за такую работу? На работе он был! Да еще стоит рот разевает. «С похмелья»! Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал… И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери… Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте, — спокойно сказала тетя.

— Где на месте? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? «Где директор»! Только и делов

директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей, которые постарше. — Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора стоит требует!.. Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя… похая, — сказала Маша.

— Она не плохая, она… — Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что — при всех! — надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел что сказать. И видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор, — сказала другая тетя, в кабинете. — Я завотделом. А в чем дело?

— Понимаете, — сказал Сашка, — стоит… и начинает — ни с того ни с сего… За что?

— Вы спокойнее, спокойнее, — посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе… Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я, мол, чего-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили? Не вы и не вы — и всё.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте… что там такое — выясним, — сказала завотделом.

И завотделом, а за ней Сашка — появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между

собой при больном — о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит, — Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила, — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот… и трясся все утром, и трясся. Нервное желе, елки зеленые! А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как «делать возмущенный вид».

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел еще. А время вышло. Он — требовать…

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко…

— Слушайте! — вмешался опять в их разговор Сашка. — Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в этом магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был!

Между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит там: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди. — Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит. Не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят — значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — за-

говорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что — бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте, — сказали Розе из очереди. — Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут…

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие, — сказала Маша.

— Да, дяди… тети… — пробормотал Сашка. — Мгм…

Он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого, в плаще. Поговорить. Как же так? С какой стати он выскочил таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить продавцу, чиновнику,

хамоватому начальству?! Угодить во что бы то ни стало! Ведь сами расплодили хамов, сами! Никто же нам их не завез, не забросил на парашютах. Сами! Пора же им и укорот сделать. Они же уже меры не знают…

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами…

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине…

— Иди проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать… «Поговорить»! Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас… Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее… Один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы

все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить лишь после того, и говорила, что дяди и тети — «похие», потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Чего-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя… Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине… Но тут же и расхотелось.

— А что, что случилось-то?

— Да ладно, ну их! Нахамили, и всё. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке, в плаще. Ведь мужик, долго жил… И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал?

Сашка часто видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив… Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры. Его, наверно, знают…

«Схожу! — решил Сашка. — Поговорю с человеком. Объясню, что правда же, эта дура обозналась: не был я вчера в магазине, зря он так — не разобравшись, полез вступаться… Вообще поговорю. Может, он одинокий какой».

— Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина!

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек. Не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь.

— Ладно.

…Один парнишка узнал по описанию:

— Из тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста, — сразу заговорил Сашка, — я хочу объяснить вам…

— Игорь! — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить…

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился… Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти — вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и скорой, радостно-скорой расправой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами. Здоровый, разгоряченный завтраком, важный.

— Вот этот человек нахамил мне в магазине… Хотел избить. — Чукалов все держал Сашку за рукав, а обращался к сыну.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не убегу, — попросил Сашка. И улыбнулся. — Я ж сам пришел.

— Пусти его, — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело, — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. — Нахамили-то мне, а ваш отец…

— А мой отец подвернулся под руку. Так?

— Да почему?

— Специально дожидался меня у магазина… — подсказал старший Чукалов.

— Мне было интересно узнать, почему вы… подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал, — раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то короткое время постоял он на

лестнице… И быстро пошел вниз, побежал. В прихожке у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти… Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот, довозмущался! Теперь бегай — унимай душу. Раньше бы ушел из магазина — ничего бы и не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был отпуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет… тварь поганая! Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена — простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть… Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно.

— Что?

— Ты опять захотел?! Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? Мне Маша сказала — какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся: я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь… Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо — через всё — проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога! — взмолилась Вера, видно чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем домой, там малышки ждут… Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай. — Вера взяла мужа за руку. — Неужели тебе нас-то не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы… Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.
Сашка легким движением высвободил руку…
И покорно пошел домой.
Эх-х… Трясуны мы, трясуны!

Забуксовал

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет, — говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно… Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил «Русь-тройку» из «Мертвых душ».

— «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился…» Нет, это не надо, — сказал сам себе Валерка. И дальше. — «Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не

тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ! Не дает ответа. Чудным звоном заливается…»

— Не торопись, — посоветовал отец. — Чешешь, как… Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую «Русь-тройку», таким же дуроломом валил, без всякого понятия, — лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь…

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь…

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!., лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою «тройку», а Роман — опять за думы. И сладкие это думы, и в то же время какие-то… нерадостные. Поло-

вину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и… ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат…Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— «…Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились…»

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: «А кого везут-то? Кони-то? Этого… Чичикова?» Роман даже привстал в изумлении… Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!., вот так троечка!



— Валерк! — позвал он. — А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так… Ну? А тут — Русь-тройка… А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер…

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой. — Учи. Задали — значит, учи. — И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная Богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — «…не так ли и ты, Русь?..» Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил… Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять… Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича.

Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу. — Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил… Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степаныч был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы: учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету. — Потерял одну штуку… извозился весь.

— Николай Степаныч, — сразу приступил Роман к делу, — слушал я счас сынишку… «Русь-тройку» учит…

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается.

Другие державы дорогу дают…

— Так…

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю. — Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет…

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель, — при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются…

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется… Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков!

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол… А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа… Усмехнулся.

— Как-то вы… не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайди — в тройке-то Чичиков. Ехай там, например… Стенька Разин — все понятно. А тут — ездил по краю…

— По губернии.

— Ну, по губернии. А может, Гоголь так и имел в виду: подсуроплю, мол, пока догадаются — меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то… неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой… Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе…

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома… Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома…

— В тройке оставил-то, вот что меня… это… и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а… Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда… Черт его знает вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже… Чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так

не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело: может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал. — Николай Степаныч улыбнулся. — Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет… Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то… Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию… штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять… Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные, — сказал Роман. — А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да. — Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. — Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: «Ну а кто едет-то?! Кто?» Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили!

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже… А через тридцать лет только дошло. — Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя: «Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?» И опять — как проклятие навалилось — подумал: «Везут-то Чичикова, какой же вопрос?»

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. — Вот наказание-то! Это ж надо так… забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

Медик Володя

Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы — на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поужинать и, может быть, выпить граммов сто водки — такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл, как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его… Стал вспоминать имя девушки, напрягал память, перебирал наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля…

Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его:

— Володя?.. Ой, здравствуй!

— Хелло! — воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь — и это «хелло», и наигранное удивление. От этого вопроса дальше возникли очень нелепые: «Каким ветром? Откуда? Куда?»

— Как?.. На каникулы.

— А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? — Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше. — До сентября? Или до октября?

Девушка — это было видно по ее глазам — отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте: «Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты», а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

— Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных

раскованных отношений.

— Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

— А мы тоже!.. Мы говорим: «А можно, мы дома отработаем?»

— Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку, и всё.

Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же: совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли… чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

— А не опасно со справкой-то? — спросила девушка. — Могут же… это…

— Я умоляю! Отработал — и всё. Возил навоз на поля. — Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за си-

гаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

— Вас куда в прошлом году возили?

— В Заозерье. Но мы там пожили неплохо… — Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую справку он не собирался доставать дома.

— А мы ездили в Красногорский район, — тоже не без удовольствия вспомнила девушка. — Тоже неплохо было. Хохми-или-и!..

— А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

— Да чем? За ягодами ходим… — Девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально — за ягодами. — Вообще, скучно.

— Скооперируемся? — навернул Володя. — А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего… четырнадцать километров, да? Сядем на велики…

— Давайте, — легко согласилась девушка. — У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но… Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то — раз! — и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

— Это вполне понятно, — сказал Володя. — Этого надо было ожидать. Это — один к одному.

— Но почему? — очень притворно удивилась девушка.

— Разошлись дороги… И разошлись, как в море корабли. — Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу. — Это так же естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце. — Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

— Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

— Почему? Нет, отсев, естественно, происходит… — Володе нравилось слово «естественно». — Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: «Ах, держите меня!» И повалилась…

— В обморок?

— Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

— Обидно, наверно, да?

— А у вас… стабильное положение?

— У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

— Кинотеатр. В прошлом году. Я как-то пошел

посмотреть какую-то картину, половины слов не понял — бубнеж какой-то: бу-бу-бу… Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

— Да нет, тоже… Я везу кое-что с собой.

— Ой, что, а?! — выдавил Володя показушный великий голод.

— «Путешествия Христофора Колумба». Это, знаете, дневники, письма, документы… Я же — географичка.

— Так. Еще?

— Еще кое-что… А у вас есть что-нибудь?

— У меня кое-что специальное тоже… «Записки врача» этого… Как его, врач тоже был?..

— Чехов?

— Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения… Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?

— Нет. А вы любите читать про медиков?

— Да нет… Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

— Нет, нету.

— Ну, так как мы будем бороться со скукой? — весело спросил Володя. — Как вы себе это представляете? — Ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэдбери…

— Общими усилиями как-нибудь… — тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала…

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе не опытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой… Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на девушку и долго смотрел — так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее, и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне!

— Вплоть до того, что… — хохотал Володя, — вплоть до того, что — поставим… — Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. — Поставим шалаш, и…

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

— Как Робинзоны… на этом… да?

Володя только кивнул головой: не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе,

и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

— Ребята, у меня ребенок спит — потише бы…

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

— Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! — И голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула.

Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

— Не спится юному ковбою, — громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: — Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору — прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней: чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может, так: «Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось».

Девушка ушла аж в тамбур — от греха подальше.

— Ой, правда, мы расшумелись, — сказала она, поправляя волосы. — Люди спят уже…

Володя закурил… Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она — совсем рядом — вскинула верх и назад оголенные свои руки. Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его… И молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку… Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела — вопросительно, чуть удивленно, — он понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступать было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал — приглашал и не приглашал: можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама… Жуткий наступил момент, наверно короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся…

— Что ты? — спросила девушка серьезно.

— Начнем? — спросил Володя.

Девушка убрала его руку.

— Что начнем? Ты что?

— О боже мой! — воскликнул Володя. — Чего ж ты уж так испугалась-то?.. Пичужка! — И он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: — Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? — И ринулся в наружную дверь тамбура — вон отсюда.

— Завтра поедем вместе? — спросила вдогонку девушка.

— Да! Обязательно! — откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось.

Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать… Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку — Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне… Он заворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли — сам мелко напаскудил. Эта Лариса

теперь расскажет всем… Они любят рассказывать — смеются всегда! — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам. Приврет еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке… пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул — страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уже поезд стоял на родной станции — дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно… Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался… И вдруг вспомнил вчерашнее… И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся… И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно

только. Ну, может, пройдет как-нибудь. Володя выглянул в окно на привокзальную площадь... И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов — высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь — домой-то охота. Но ведь какая настырная — стоит, ждет!

Привет Сивому!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка… женщина, которая медленно, ласково называла его — Мишель. Очкарика слегка коробило, что он — Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта… весь этот звякающий чужой набор — «Мишель», «Базиль», «Андж» — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, — Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая… Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная

томность… Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной… Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. «Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!» — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — «Аэропорт»! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались… Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова… Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы… Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — «Аэропорт», да даже

дело не в том: пусть «Аэропорт», но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда такого праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя, — говорит Мишель, — что, если мы… у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал…

— Найн, — нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. — Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно… ну, черт знает как двусмысленно! Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит…

«А здоровый я мужчина!» — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел опять к ней вечером.

Пришел… и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости…

— Здравствуйте, — сказал Мишель.

Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь, — спокойно, медленно сказала Кэт. — Серж, я тебе говорила…

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно… Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович, — представился он. И протянул руку.

«Может, это ее родственник?» — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кив-

нул снисходительно… Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна. — Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

«Как в лучших домах Лондона», — пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй, — неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственный возможный. — А вы?

— Да, пожалуй, — медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии.

Кэт услышала иронию и внимательно посмот-

рела на Мишеля… непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике, — сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты «Кент» в пепельницу. — О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый…

— Как — знакомый?

— Близко.

— Но… Не понимаю! — загорячился кандидат. — Что значит «близко»?

Кэт медленно засмеялась… В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски, — сказал он. — Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело? — совсем зло спросил кандидат. — Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю… — Кандидат опять потерялся, и было очень больно. — У нас, кажется, были не те отношения…

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что… Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт. — Ты можешь приходить…

— По графику, что ли?

— Не надо хамить, — устало и медленно сказала Кэт.

«Не уйду! — решил кандидат. — Что будет, то и будь.

Я вам покажу… Сан-Франциско!»

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

«Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат. — Это ж надо так войти в роль… сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то».

— Мне бы водки, — сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим «джентльменам» всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки: в этом был некий вызов, и это его устраивало. — Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет, — кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски, — сказал кандидат. — С содовой. — Он тоже пристроился играть «джентльмена», и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. —

Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик… Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж…

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было. — Говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь… В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж, — потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?!

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского… «Закуска — ваша!» — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один, — сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель. — Сдурел, что ли, один ездит!

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой… сероватый, срыжа.

— Не надо хамить, Мишель, — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную. — Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему… К нему не присоединились, Мишель выпил один. — Кхух!.. — выдохнул он. — Обожаю виски. У вас «Кент»? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая, — он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— «Марлборо», дома оставил, — изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. — На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня «Марлборо»-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет — я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и… И вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый… Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

— Прекрасная мелодия… Чего же тут плакать? Хотя… понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата… Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало очень весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка. — Сивый думает, что за…

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берёт? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берёт. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат. — Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить, — нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель. — Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал

однажды, он как заржет!..

— Ну хватит! — решительно сказал Серж. И встал. — Сейчас ты у меня заржешь… — И схватил кандидата короткой сильной рукой и поволок к выходу.

— Серж, не очень там, — сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами… Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел: вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам… И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

«Как же ты жесток!.. — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. — Как ты гадок!»

— Еще? — спросил Серж.

— Давай, — сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла… Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились… С полминуты, наверно, лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, — ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

«О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. — Ну как, Мишель?»

На кладбище

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц… Макушка лета. Где-то робко ударили в колокол… И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

…Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей… Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин… Я один раз слышал, как по

улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

…Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то, — сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки… Смутился чего-то.

— Извините…

— Да что же?.. Садись. — Она села на скамеечку и показала рядом с собой. — Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут, — сказала она, глядя на ухоженную могилку. — Сынок… Спит. — Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито… Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне. — Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет… я так. Зашел просто… Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают?..

— А что? — Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать. — Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так, — согласилась старушка. — Только дума-то тут… вишь какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему. — Она повернулась опять к могилке. — Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только… не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил, — сказала старушка покорно. Еще помолчала. — Только жить начинать, а он вот… завалился туда… А тут как хошь, так и живи. — Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне. — Неладно живете, молодые, ох неладно! — сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами. — Вот расскажу тебе

одну историю, а ты уж как знаешь: хошь — верь, хошь — не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торописся?

— Нет.

— Вот тут у нас на Мочишшах… Ты здешный ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту… А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко! Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. «Ну-ка, — говорит, — послушай: может, мне кажется?» Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище

плачет какая-то женщина, надо узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол… Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих… А темень — глаз коли! Он спрашивает: «Есть тут кто-нибудь живой?» Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина… Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: «Убери фонарик-то, убери. И оружию, — говорит, — зря с собой взял». Солдатик оробел… «Ты плакала-то?» — «Я плакала». — «А чего ты плачешь?» — «А об вас, — говорит, — плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала». — «Да я же комсомолец! — Это солдатик-то ей. — Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, — говорит, — не верю тебе». А она вот так вот прикоснулась к ему, — и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины, — и говорит: «Пове-ерите». И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как было дело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!.. — Старушка сказала последние слова с

горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно: — Как же не обсмеют! Обсмеют! Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то, — на гимнастерке-то образ Божьей Матери. Вот такой вот. — Старушка показала свою ладонь, ладошку. — Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то, — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди — я бы снял пиджак и посмотрел, нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой, меняет их без конца. Я говорю: «Да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять?» Сошелся тут с одной, рабеночка нажили… Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. «Опять, — говорит, — не в те ворота заехал». Ах ты, господи-то! Беда прямо. Ну, пожил

один сколько-то, подвернулась образованная, лаборанка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то. Пишут мне оттудова: «Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам». — Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать: — Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила… Дура старая, так мне и надо: поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего… Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: «Мамаша, кто же так оладьи пекет!» — «Как кто? — говорю. — Все так пекут. А чего не так-то?» Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. «Ты, — говорит, — масла побольше в сковородку-то, масла». — «Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи!» Ну, и взялись друг

дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то, — черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, Господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и всё. А то и вовсе: «я, — говорит, — в столовку забежал». «Ах ты, — думаю, — образованная!» Вертихвостки вы, а не образованные! — Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне. — Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью. — Там насчет знаний-то… конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну да, в колхозе-то неохота работать, — согласилась старушка. — Господи, Господи… Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина

сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась. Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там… Пойду палкой попру. — Старушка поднялась, посмотрела на меня. — Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то… все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается… — вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро.

Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

Воскресная тоска

Моя кровать — в углу, его — напротив. Между нами — стол, на столе — рукопись, толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу, и стало грустно: такая тягомотина, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки «бело-морину», прикуриваю. С удовольствием затягиваюсь раза три кряду. Кто-то хорошо придумал — курить.

...Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

— Кинь спички, — попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крякнул и, не вставая, потянулся за коробком.

— Муки слова, что ли? — спросил он.

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

— Опять пепел на пол стряхиваешь! — строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих, — это главное, — он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек и называет себя не иначе — реалистом. «Мы, реалисты…» — начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

— Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? — спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним).

Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

— Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости. — Очень хочется чем-нибудь уязвить этот телефонный столб. Нисколько он не практичный, и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

— Неправда, — сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. — Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

— А тебе что, очень тоскливо?

— То есть… на белый свет смотреть тошно.

— Значит, ты — умница.

Пауза.

— Двадцать копеек с меня, — говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намека на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет. Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напра-

шивается на спор, и, если в спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, особенно балет, — все это никому не нужно. Кино — ничего, кино можно оставить, а всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, «расхолаживает» их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивает пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску, не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

— Ох, и тоска же! — опять заныл Серега.

— Перестань слушай.

— Что?

— Ничего. Противно.

— В твоем романе люди не тоскуют? Нет?

«Не буду спорить. Господи, дай терпения».

— У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

«Не буду ругаться. Не буду».

— Песни, наверно, поют о спутниках, — продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами. — Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! «Назначаю я свидание на Луне-е»!.. — передразнил он кого-то. — Уже

свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает — рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок — это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало.

Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

— Дай роман-то свой почитать, — говорит Серега.

— Пошел ты…

— Боишься критики?

— Только не твоей.

— Я ж читатель.

— Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

— Это ты зря, — обиделся Серега. — Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

— Почему?

— Потому что никогда таким хорошим не будешь все равно. — Серега поднялся и пошел к выходу. — Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу. Не только с физзарядкой плохо — все плохо. Какие-то бесконечные «шалые ветерки», какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей… А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре». Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

— Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

— Сережи… Здравствуйте! Сережи нету?

— Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

— Извините, пожалуйста.

— Он придет скоро.

— Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку, любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то

странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает: волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку — ее зовут Лена, — орет, сучит огромным кулаком по конспекту.

— Какой здесь КПД?!

Леночка испуганно вздрагивает.

— Не кричи, Сережа.

— Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

— Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же… Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

— Прошелся малость.

— К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты за-

шел к ней.

— Кто?

— Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

— Зачем зайти?

— Не знаю.

— Ладно трепаться. — Он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

— Как хочешь. — И склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

— Дай закурить, — чуть охрипшим голосом просит Серега.

— Идиот!

Стало тихо.

— Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал». — Когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как правило, невпопад и некстати. — Дай закурить все-таки.

— Дождешься ты, Серега, подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой — только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго мол-

чал, глядел в пол.

— Ты советуешь сходить к ней? — тихо спросил он.

— Конечно, Серега! — Я прямо тронут его беспомощностью. — Конечно, сходить. На, закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

— Со стороны всегда легко советовать…

— Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

— Ничего.

— Иди к ней.

— Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю — и пойду.

— Иди прямо с папироской. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю… Я писатель как-никак.

— Не говори со мной, как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Остряк!

— Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье… Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и всё.

— Значит, она не просила, чтобы я зашел?

— Просила.

Серега посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

— Я узнаю зайду.

— Узнай.

Серега вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но… в конце концов, надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык… Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается… и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влепил сюда и «шалый ветерок» и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит, как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, КПД… Молчит, и всё.

Потом девушка говорит:

— Пойдем на речку, Сережа.

— Мм… — Значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки

разные чирикают… Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею… прильнула…

— Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная!

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит — не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх… пусть простит меня мой любимый роман с «шалыми ветерками», пусть он простит меня! Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю

последнюю страницу рассказа, где «он», счастливый и усталый, возвращается домой.

— Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь, прочитаю?

— Хм… Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу, я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова — сидел на кровати опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек. Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

— Ничего, — сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

— Многое не угадал? Вы где были? На речке?

— Мы нигде не были.

— Как?..

— Так.

— Ты был у нее?

— Нет.

— О-о! А где ты был?

— Ав планетарий прошелся… — Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову. — Ничего рассказ, — еще раз сказал он. — Только не вздумай ей прочитать его.

— Сережа, ты почто не пошел к ней?

— Ну, почто, почто!.. Пото… Дай закурить.

— На! Осёл ты, Серега!

Серега закурил, достал из-под подушки журнал «Наука и жизнь» и углубился в чтение — он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как «Шерлока Холмса».

В профиль и анфас

На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у старика раннее солнышко, и он — давным-давно — шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые — на деле выносливые, как кони. И в бане парятся здорово.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

— Гуляешь? — спросил старик.

— Это не гульба, дед, — не сразу сказал Иван. — Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля?

— Откуда?

— Башка лопается по швам.

— Как с работой-то?

— Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

— Кто, директор?

— Ну. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

— На сколь отобрали права-то?

— На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красненького стакан. А он придрался… С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился…

— Ты уж какой-то… шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с имя сделаешь? Они — начальство…

— Ну и что?

— Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах — скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

— Где и смолчать надо, парень, — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. — Наше дело такое.

— Да я особо-то не лаюсь, — неохотно откликнулся Иван. — Так — если уж прицепится какой… Главное, я же правила-то не нарушал! — опять горько воскликнул он. — За стакан вина да за кружку пива — на год лишил прав… Паразит.

— Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

— Зачем?

— У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

— Там, — сказал он, — в дальнем углу. Сюда — ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного ботуну. И стакан.

— Что ж ты сразу не сказал? — заторопился Иван. — Сидит помалкивает!.. — Он налил стакан и одном духом оглушил. — Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, — долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил ботуном.

— Как бензин, верно?

— Самогон как самогон. Какой бензин? Хреновину городишь какую-то.

— Ну вот! — Иван хлопнул себя ладонью в грудь. — Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? — Протянул пачку «Памира».

Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

— Петька-то пишет?

— Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика.

— Брось ты!..

— Хошь брось, хошь положь… на месте будет. — Старик говорил спокойно.

— Болит, что ль, чего?

— Нет. Чую. Тебе столько годов будет — тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

— Брось! — сказал он. — Поживешь. Гармонь, что ль, принесть?

— Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом… И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

— Мать, — сказал он. — Жалко вообще-то…

— Все жа ехать хошь?

— Ну а что делать-то? — Иван, видно, только что так и говорил с матерью. — Не могу же я на этот… Да ну — к черту совсем! Я Северным морским путем прошел… Я моторист, слесарь пятого разряда… Ну ладно, год не буду ездить, но неужели… Да ну — к черту! — Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. — Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка… А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты

понял? — Он часто рассказывал, как он женился.

— Пошто в Ленинград-то?

— Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то — черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

— К ей теперь поедешь?

— К жене?! Она второй год замужем… Молодая красивая кыса.

— А куда?

— К корешу одному… На шахты. Может, не на все время. Может, на год.

— На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

— Ну а что я тут буду делать-то?! — опять взвился Иван. — На этот идти, на… Да ну — к черту! — Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать — как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,
Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходила женщина
Д от меня.
Напугалась, лапушка?
Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

— Сам сочиняю, — сказал Иван. — На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться —
В профиль и анфас;
В золотой оправушке…

— Баламут ты, Ванька, — сказал старик. — Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике… Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

— Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что, им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею… Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К Восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота… как это… как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: а я-то зачем здесь? Самое же дурац-

кое дело! Ну, видел — и всё. Измучился, пока суд шел. — Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал. — Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?» Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни, — сказал он и сплюнул. — Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал, — негромко заговорил он. — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь — наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался… А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то…

— Заелись, — пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не

было, поэтому вам хватало… Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка, — попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. — Сороконожки! — вдруг зло сказал он. — Суетитесь на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а… тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь…

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. «Разма-ах»! А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за езду рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки сделает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок сделал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отваливали — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег, — словно подзадоривая старика, сказал Иван. — Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету. Ходишь, как побирушка… Не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти… Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх, работники! Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить…

— Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб… Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает… Где же смысл?

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед… — вздохнул Иван.

— Где нам!

— А я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на… —

пропел он.

Старик усмехнулся:

— Обормот! Жена-то пошто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так… — Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до того будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю: то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают… Веришь, нет: ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — Старик покачал головой. — Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливее, а

шум и возня в деревне будут стихать. И совсем уж темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

— Может, я схожу к директору-то, попрошу?.. — заговорила мать.

Иван брился.

— Еще чего! В ноги упади — он довольный будет.

— Ну а как жа теперь? — Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней — понимала: разговор, наверно, последний. — Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет…

— Я ходил. Просил.

— Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете.

— Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько, и запричитала:

— Куда вот собрался? К черту на кулички… То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто же, сынок, только про себя думаешь?.. Про матерей-то пошто не думаете?

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже. И оттого он хмурился раньше времени.

— Да что ты меня… на войну, что ли, провожаешь? Что я там?.. Да ну, к шутам всё! И вечно — слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

— Сходила ба, попросила — не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи… Што уж сразу так — уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-

то, поговорил… С людьми поговорить надо…

— Они уж в милиции, права-то. Поздно.

— Ну и в милицию съездил ба…

— Хо-о! — изумился Иван. — Ну ты даешь!

— Господи, Господи… Всю жись вот так. И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли…

Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот… Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь в этих переулках лунными ночами… А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе, хоть немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

— Ну! — Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрыла на стол.

— Ну, поработал ба на свинарнике…

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

— Ни под каким лозунгом, — твердо сказал Иван. — Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать… Только у него ничего не выйдет.

— Господи, Господи…

Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

— С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

— Может, схожу, сынок? — Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние. — Упрошу его… Он хороший мужик.

— Мам… Мне же тоже тяжело!

— А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул… Счас, отдали так-то.

— Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо говорить, хоть Иван давно уж запомнил слова.

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

— Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

…И пошли по улице: мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то… уезжает, што ль? куда?»

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий.

Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

— Поехал?

— Поехал.

Закурили.

— Рыбачил, что ль?

— Попробовал поставил перемётишки… Рано ишо.

— Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда поедет сын.

— Не пей там, — посоветовал дед. — Город — он и есть город — чужие все. Пообвыкни сперва…

— Что я, алкаш, что ли?

Еще постояли.

— Ну, с Богом! — сказал старик.

— Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать… Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом. Прошли немного.

— Мам… иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее… Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

— Ладно, мам… Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так… Ничего со мной не случится! Не ездют, что ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его… И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

— Пошел! — сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

— Дик! Дик! — позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно посмотрел на хозяина.

А подальше стояла мать…



«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет», — думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице — к автобусу.

А мать все стояла… Смотрела вслед ему.

Штрихи к портрету

Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина

1. «О государстве»

В райгородок Н приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да, — сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги. — Войдите!

Вошел невысокий человек лет сорока пяти, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело. — Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь, — пригласил Кайгородов.

— Спасибо. — Князев сел и оглядел жилище спортсменов. — А номерок-то… не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же…

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой, — сказала Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку… — Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно. — Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают

знающие люди, показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки, тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев. — Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа… Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев. — Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить…

— Слушайте, — перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный, — я не понимаю: чего вам надо?

— Тю-тю-тю, — с улыбкой, мирно сказал Князев. — Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь… — Спортсмен несколько смутился. — Но с другой стороны… я не пойму…

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости, — опять мирно, терпеливо пояснил Князев. — И будет как раз с той стороны, с какой…

— Не пойду, — отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие

гостя, его какая-то противная веселость. — Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся:

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали.

— Гриша! — сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал… Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте, — велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке, — обернулся с порога Кайгородов. — Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне, чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке: — Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут… преследую, просто захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь

не часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина. — Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение… — Князев встал со стула. — Как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша, — заговорила жена, — ты ведь свободен… Я-то не могу, — сказала она гостю, — мы завтра уезжаем, надо приготовиться…

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел, — сказал Князев. — Вы уж извините, что так нескладно вышло… Хотел как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову. — Это я от смущения. Все же вы люди… заметные.

— Да ну, чего тут!.. — сказал Кайгородов. И посмотрел на жену. — Можно сходить вообще-то…

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев. — Посмотрите, как живут провинциалы… Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять

весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте, — решительно сказал он. И встал.

— Ну вот, — с облегчением, как бы сам себе молвил Князев. — А то — в коридор…

Кайгородову теперь уж даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше… — начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро, — сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда, лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом, — сказал Князев. —

Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо? — я спрашиваю.

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев. — Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго. — Я, знаешь, всяких этих штук не люблю…

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев. — Да вы что?! Ну, спортсмены… На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое… Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены! Вы что?

— А что это за манера такая… странная? — сказал Кайгородов. — Хаханьки какие-то…

— Манера-то? — Князев хмыкнул. — Заметил!.. — И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом. — Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой

глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать. — Князев говорил серьезно, негромко, с грустью. — Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как…

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал… Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей… Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди — они как? — сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал… Потом сказал грустно:

— Это — легко сказать… спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти… штуки,

как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом, — сказал Князев. — Я хочу только предупредить… — Князев остановился перед воротцами. — Жена у меня… как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь… недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить, если она недовольство проявляет?

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен! Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас. — Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми. — Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов. — Но поперся с вами зря — это уж точно.

— Как сказать, как сказать… — молвил Князев, открывая сеничную дверь. — Тут осторожней:

головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях… Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте, — сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка, — пояснил Князев. — Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем… Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую, — сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги. — Спиноза стёкла шлифовал, а я вот… паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому приходится домой брать. — Он достал бумаги — несколько общих тетрадей, — посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно. — Садитесь, пожалуйста. Чаю,

возможно, не будет… Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят. — Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках. — Здесь, — продолжал он и качнул тетради, — труд многих лет. Я вас очень прошу… — Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его… в глазах его стояла серьезная мольба и тревога. — Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени… — Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам твоего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе

руки и, недовольный, сказал: — Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека. Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях… Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство, — начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать, — это очень сложный организм. Чтобы извлечь из него пользу, надо… он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке… — Он показал глазами на дверь. — Но… тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру… А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства. — Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать: — «Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем…» Мобилизуйте вашу фантазию, и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками. — Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова,

счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно, — сказал Кайгородов.

— «Представим себе, — продолжал читать Князев, — это огромное здание — в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — *х* — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие — перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку; закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи… Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже *у*. С пульта управления…»

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других… Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай, — сказал он добро и участливо, — ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил…

— Я понимаю, понимаю, — негромко перебил его Князев, — двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно… Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно… представить. Так ведь? Здесь — другое. — Князев, не оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо. — До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну! — сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях, — напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он. — У нас там буфет до двенадцати работает… Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько. — Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву… — Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал…

— Николай Николаевич.

— Николай… Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся…

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут. — Вы послушайте… хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева… Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

«Подосвиданькались» довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу… Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю, — тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания. — Закрой дверь.

2. «О смысле жизни»

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его

тесть и теща, молчаливые жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши… Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: «Опять за свое!» Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши, — говорила Алевтина грустно.

Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничто не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить… Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехал, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И

они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой «колхозники-совхозники» (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя… Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет…

— Ладно, потом как-нибудь, — пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко… Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся.

— Ишь ты!.. — негромко говорил он. — Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживал удочки.

— А-а! — весело сказал старик. — Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю, — сказал Князев. — Но посижу с

вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев, — около сорока. — Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками… Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых, — отбил Князев эту нелепую попытку учить его, — и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет! — посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об «этих мероприятиях», а о целесообразных, — подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно. — Улавливаете разницу?

Сильченке тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают… Он тоже был человек с мыслями.

— Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну все же…

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел; синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем; он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну в кино-то видели же!

— Ну… допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм… Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни: есть перед гла-

зами слушатель, который хоть ерепенится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли, — Князев показал ладонь, сложенную горстью, — а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных суперов. Понятно? Что может сделать слабая человеческая рука?.. — Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим. — Удочка. Вот — тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику. — Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм. — Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко. — Улавливаете?

— Не улавливаю, — сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала. — При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время… Я высказал мысль, что чем бы ты не занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул

хорошо.

— Бред, галиматья, — сурово и весело сказал Князев. — Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество.

Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив. — Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли… А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж действительно галиматья-то! Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть… На природу. Мне нравится рыбачить… вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает… такой уж наглядный

пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности. — В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как, — уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. — Во всеобщей же государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами… Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так…

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз… Вот представьте себе, — еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера, — мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: «У меня отпуск, я отдыхаю».

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался и Сильченко. — Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревёшко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать, — сердито заговорил Сильченко. — То холм, то бревно какое-то… Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как… по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего. — Ну полная же бестолочь!.. Ну, честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот… товарищ молотит здесь?

— Я слушаю, — сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-чего не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней, — снисходительно и недобро посоветовал Князев. — Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?!

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же… Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то…

— Раз не понял, значит — чепуха, бред. Ве-ликолеп-ная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо, — взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак. — Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире… В целом. — Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко. — В каком «в целом»? В чем это? Где?

— В государстве живете, — продолжал Князев. — В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не «ну», а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну, в чем?.. Чтобы работать, быть честным, — стал перечислять Сильченко, — защищать Родину, когда потребуется…

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего — Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно, — сказал Князев. — Но это все — ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай! Ты просто дурак! Долбо… — И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака. — Чего тебе от меня надо?! — закричал он. — Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких

вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будут… Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо, — сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника гримера. — Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко. — Чего?!

Из дома на крыльцо вышли люди…

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло! — сказал он негромко. — Ну и хамло же… Разинул пасть. — Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру, к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита, — сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева. — С приездом вас.

— Спасибо, — ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия. — С нами… не

желаете?

— Нет, я позавтракал. — Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю, — сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он — «пропагандирует». — Опять мне чего-то там рассказывают…

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев. — Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу… более ясное представление…

— Товарищ Князев, — сухо, казенным голосом заговорил председатель, — мне это неловко делать, но я должен…

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу, что я сделал? Хотел просто объяснить ему… а он заорал, как дурной. Я не знаю… Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев…

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул. — Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!.. — опять изумился он. — Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал… Зачем его тревожить? Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть как хотят… Ведь он же гример!

— Ну.

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу…

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует… Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут… жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустить, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря…

— Товарищ Князев, — перебил председатель, —

мне сейчас некогда: у меня в девять совещание… Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить…

— Хорошо, хорошо, — торопливо, грустно сказал Князев. — Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему… И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал… Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает…

3. «О проблеме свободного времени»

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал: куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва… Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту

сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть правда интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже выказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе. — Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно: и радость людям, и государству польза: взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь… это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил. — Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают!

— Психологически — это для них кругосветное путешествие, — сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся… И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень

приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да, — неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети… Потом посмотрел птиц, потом обезьянок… Один дурак обезьян (мужского пола) начал ни с того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка: надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно, — сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом… Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?.. — спросил он. — Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой:

— Нет, нет!

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман. — Не пьешь?

— Не пью, — недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени, — не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят… А тут, — Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака, — полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно, что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят, — хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот… все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню… А ведь… это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает…

— Но если б не было выгоды, их не держали бы, — тут же и заметил молодой человек. — Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно… Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут — от нечего делать; идут — познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!.. — неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и докончил: — Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьмато! — Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю, — сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов был улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев. — Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в

голосе Князева и поверил, что, наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился… Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего, — значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо его уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты! — вслух сказал Князев, выйдя из кафе. — В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь… нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть, Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо… Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе… Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он ис-

пугался.

— Хотел спросить… — мирно заговорил молодой человек. — Я давеча не понял: ты правда, что ли?..

— Что «правда»?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал…

— Ничего я не хотел… Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся… Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Князев серьезно, — я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать…

— Я же не на работе, — возразил молодой человек тоже серьезно. — Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался. — Вот об этом и стоит погово-

рить. Выходной день… Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую… Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию…

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились…

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство предоставляет выходной день… даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того, — продолжал Князев, — чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, — не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: «Зайти, что ли?» Ну а если бы мимо… не знаю, мимо аптеки шел: «Зайти, что ли, касторки взять?» Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой «касторки». Он посмеялся и уже добродушно продолжал:

— Нельзя же… таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает

свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился. — Хватит уж, хватит, мил человек, хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — всё пешком, пешком… Всё наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука, — с дрожью в голосе, негромко сказал молодой человек, — карьеру на мне хочешь состроить. — И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику…

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще несколько тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!.. — взволновался Князев и хотел вско-

чить.

Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!.. — закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе. — Сюда, люди! Ко мне!.. — кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут.

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе, — отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный. — Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся

Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме…

— Да тихо! — приказал дежурный. — Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина, — сказал Князев, потирая челюсть. — Тебе не электриком, а золотарем надо… В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает…

— А вы? — перешел к нему дежурный.

…Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному «до свиданья». И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, и смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела. Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота… Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой.

4. Конец мыслям

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую, сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что «вы знаете, товарищ Князев...». О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в Центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли. Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что — вот, восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей, — от

того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева, — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения… Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта… Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой… давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но тем не менее послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете… А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что?! Ты хоть слово «государство» напишешь правильно? Ведь ты же напишешь «гасударство»!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина. — Сергей Николаич! А Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов. — Идите-ка суда — вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине… И стремительно пошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство, — с мстительным злорадным чувством говорил Князев. — Разберись, Сергей Николаич, может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть…

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе.

Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить. — Пр-рочь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь. — Пр-рочь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь, помогите! — позвал он. — Он, наверно, буйный!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!.. — воскликнул он. — Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите… Эх, лягушатника! Нет, я не пьян. Этот номер у вас не пройдет… Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаич? Вы тут — главная лягушка. Жаба! Все знает — знает, как связать человека. Курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори, — спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева. — Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины, — говорил Князев. — Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то! — нравится быть полудурками! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и всё.

Князева подтолкнули вперед… Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев… Князев вышагнул из круга

— орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он. — Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе, в галстуке!.. — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про гасударство. Удивительно, да? Вот же еще: мы всю жизнь лаптем шти хлебаем, а он там чявой-то про гасударство! Какой еще! Ишь, чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да?! Мы те попишем! Мы те подумаем!.. Да здравствуют полудурки!

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел… Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили

пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех, — стали объяснять врачу. — Всех подряд обзывать начал…

— Ну, это уж… что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту! — устало сказал Князев. — Взорвался просто… Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: «Давайте пока не посылать — давайте подумаем». Она подумает!.. Курица.

— Ну, а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала, — тетради лежали у начальника на столе, — а судит! И я знаю откуда: жена ей наговорила… Она к жене моей ходит, та ей и… охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата… и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей… Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление…

Князев поморщился.

— Только ничего не надо сейчас… Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите. — Князев встал. — Можно идти, что ли?

— Можно-то можно… Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев. — Начальник строго глядел на Князева. — Надо, как думаешь?

— Ладно, — сказал Князев. — Извинюсь. — Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя. — Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом отдам. — Начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так… И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будут в сохранности.

— Ведь тут… — Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей, — тут, может быть… — Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл…

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

«ТЕТРАДЬ № 1»

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

«КОРОТКО ОБ АВТОРЕ»

И следовала краткая «Опись жизни» Н. Н. Князева, сделанная им самим.

«Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитание тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я спустя некоторое время вдруг задумаюсь: «А почему он на меня орет?» Мой разум еще не мог ответить на подобные вопросы, но он

упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: «Сколько всего наворочено! А порядка нет». Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и тем самым побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство, — каждый старается на своем месте. «И тем не менее, — думал я, — государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой». Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает

— каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание… Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. «Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до Луны!» Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям».

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

До третьих петухов
Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума



Как-то в одной библиотеке, вечером, часов этак в шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок — ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись.

— Да нет, — говорила библиотекарша, — я думаю, это пшено. Он же козел… Пойдем лучше потопчемся. А? Нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику… Я знаю, что он баран, но у него «Грюндик» — посидим… Тюлень тоже придет, потом этот будет… филин-то… Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время! Ну, ну… слушаю…

— Ничего не понимаю, — тихо сказал некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, тяжелому помещику, похоже Обломову. Обломов улыбнулся.

— В зоопарк собираются.

— Почему все козлы-то?

— Ну… видно, ирония. Хорошенькая. А?

Господин в цилиндре поморщился:

— Вульгаритэ.

— Вам всё француженок подавай, — с неодоб-

рением сказал Обломов. — А мне глянется. С ножками — это они неплохо придумали. А?

— Очень уж… того… — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. — Очень уж коротко. Зачем так?

Обломов тихо засмеялся.

— А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри.

— Да мне что, в сущности?.. — смутился чеховский персонаж. — Пожалуйста. Почему только с ног начали?

— Что? — не понял Обломов.

— Возрождаться-то.

— А откуда же возрождаются? — спросил довольный Обломов. — С ног, братец, и начинают.

— Вы не меняетесь, — со скрытым презрением заметил пришибленный.

Обломов опять тихо засмеялся.

— Том!.. Том!.. Слушай сюда! — кричала в трубку библиотекарша. — Слушай сюда!.. Он же козел! У кого машина? У него? Нет, серьезно? — Библиотекарша надолго умолкла: слушала. — А каких наук? — спросила она тихо. — Да? Тогда я сама козел…

Библиотекарша очень расстроилась… Положила трубку, посидела просто так, потом встала и

ушла. И закрыла библиотеку на замок.

Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями…

— В темпе, в темпе! — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. — Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И — короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?

— Позвольте? — Это спрашивала Бедная Лиза.

— Давай, Лиза, — сказал лысый.

— Я сама тоже из крестьян, — начала Бедная Лиза, — вы все знаете, какая я бедная…

— Знаем, знаем! — зашумели все. — Давай короче!

— Мне стыдно, — горячо продолжала Бедная Лиза, — что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?

— Выгнать! — крикнули с места.

— Тихо! — строго сказал лысый Конторский. — Что ты предлагаешь, Лиза?

— Пускай достанет справку, что он умный, — сказала Лиза.

Тут все одобрительно зашумели:

— Правильно!

— Пускай достанет! Или пускай убирается!..

— Какие вы, однако, прыткие, — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке: не мог встать. — Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать…

— У Мудреца. — Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу. — Илья, я тебе слова не давал!

— А я тебя не спрашивал. И спрашивать не собираюсь. Закрой хлебало, а то заставлю чернила пить. И промокашкой закусывать. Крыса конторская!

— Ну, начинается!.. — недовольно сказал Обломов. — Илья, тебе бы только лаяться. А чем плохое предложение: пускай достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть. От него портянками пахнет… Да и никому, я думаю, не…

— Цыть! — громыхнул Илья. — Неловко ему. А палицей по башке хошь? Достану!

Тут какой-то, явно лишний, заметил:

— Междоусобица.

— А? — не понял конторский.

— Междоусобица, — сказал Лишний. — Пропадем.

— Кто пропадет? — Илья тоже не видел опасности, о какой говорил Лишний. — Сиди тут, гусарчик! А то достану тоже разок…

— Требую удовлетворения! — вскочил Лишний.

— Да сядь! — сказал Конторский. — Какое удовлетворение?

— Требую удовлетворения: этот сидень карачаровский меня оскорбил.

— Сядь, — сказал и Обломов. — Чего с Иваном-то делать?

Все задумались.

Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде ухо.

— Думайте, думайте, — сказал он. — Умники нашлись… Доктора.

— Не груби, Иван, — сказал Конторский. — О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь возьмешь?

— Где?

— У Мудреца… Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь…

— А я не склоняюсь! — бухнул опять Илья. — Склоняется он! Ну и склоняйся сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали — справку… Кто это со справкой выскочил? Лизка? Ты чего, девка?

— А ничего! — воскликнула Бедная Лиза. —

Если ты сидишь, то и все должны сидеть?! Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация! Я присоединяюсь к требованию ведущего: надо что-то делать. — И она еще раз сказала звонко и убедительно: — Надо что-то делать!

Все задумались.

А Илья нахмурился.

— Какая-то сидячая агитация, — проворчал он. — Выдумывает чего ни попадя. Какая агитация?

— Да такая самая!.. — вскинулся на него Обломов. — Сидячая, тебе сказали. «Кака-ая»! Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять: что делать-то?

— И все же я требую удовлетворения! — вспомнил свою обиду Лишний. — Я вызываю этого горлопана (к Илье) на дуэль.

— Сядь! — крикнул Конторский на Лишнего. — Дело делать или дуэлями заниматься?! Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сколько… Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами.

Тут все взволновались, зашумели одобрительно.

— Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский.

— Трус, — сказал ему Онегин.

— Кто трус?

— Ты трус.

— А ты — лодырь. Шулер. Развратник. Циник…

— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. — Сарынь на кичку!

— Сядь! — обозлился Конторский. — А то я те покажу «сарынь». Задвину за шкаф вон — поорешь там. Еще раз спрашиваю: что будем делать?

— Иди ко мне, атаман, — позвал Илья казака. — Чего-то скажу.

— Предупреждаю, — сказал Конторский, — если затеете какую-нибудь свару… вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь… самородки.

— Сказать ничего нельзя! — горько возмутился Илья. — Чего вы?.. Собаки какие-то, истинный бог, как ни скажешь — все не так.

— Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже — народ.

— Счас они будут рубахи на груди рвать, — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакиевича. — Рукава будут жевать…

— Да зачем же мне рукава жевать? — искренне спросил казачий атаман. — Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну.

— Всё — междоусобица, — грустно сказал Лишний. — Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем.

— Айда на Волгу! — кликнул опять атаман. — Хоть погуляем.

— Сиди, — сердито сказал Обломов. — Гуляка… Все бы гулять, все бы им гулять! Дело надо делать, а не гулять.

— А-а-а, — вдруг зловеще-тихо протянул атаман, — вот кохо я искал-то всю жизню. Вот кохо мине надоть-то… — И потащил из ножен саблю. — Вот кому я счас кровя-то пущу…

Все повскакали с мест.

Акакий Акакиевич птицей взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:

— О-о, забегали?! Забегали, черти драповые?! Забегали?

Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь:

— Да ты спроси историков литературы! Ты спроси!.. Я же хороший был! Я только лодырь беспросветный… Но я же безвредный.

— А вот похлядим, — говорил казак, — похля-

дим, какой ты хороший: хороших моя сабля не секёть.

Конторский сунулся было к казаку, тот замахнулся на него, и Конторский отскочил.

— Бей, казаче! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!

И бог знает что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:

— Закрыто на учет!

И все замерли… Опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.

— Азия, — тихо и горько сказал Конторский. — Разве можно тут что-нибудь сделать! Спасибо, Акакий. Мне как-то и в голову не пришло — закрыть на учет.

— Илья, у тя вина нету? — спросил казак Муромца.

— Откуда? — откликнулся тот. — Я же не пью.

— Тяжко на душе, — молвил казак. — Маяться буду…

— А нечего тут… размахался, понимаешь, — сказал Конторский. — Продолжим, Лиза, ты чего-то хотела сказать…

— Я предлагаю отправить Ивана-дурака к

Мудрецу за справкой, — сказала Лиза звонко и убежденно. — Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай… я не знаю… пускай убирается от нас.

— Куда же ему? — спросил Илья грустно.

— Пускай идет в букинистический! — жестко отрезала Лиза.

— О-о, не крутенько ли? — усомнился кто-то.

— Не крутенько, — тоже жестко сказал Конторский. — Нисколько. Только так. Иван…

— Аиньки! — откликнулся Иван. И встал.

— Иди.

Иван посмотрел на Илью.

Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе — всё, видно, искал вино.

— Иди, Ванька, — тихо сказал Илья. — Ничего не сделаешь. Надо идти. Вишь какие они все… ученые. Иди и помни: в огне тебе не гореть, в воде не тонуть… За остальное не ручаюсь.

— Хошь мою саблю? — предложил казак Ивану.

— Зачем она мне? — откликнулся тот.

— Иван, — заговорил Илья, — иди смело: я буду про тебя думать. Где тебя пристегнет беда…

Где тебя задумают погубить, я крикну: «Ванька, смотри!»

— Как ты узнаешь, шо ехо пристихла беда? — спросил казак.

— Я узнаю. Сердцем учую. А ты мой голос услышишь.

Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном… Подтянул потуже армячишко и пошел к двери.

— Не поминайте лихом, если где пропаду, — сказал с порога.

— Придешь со справкой, Иван, — взволнованно сказала Лиза, — я за тебя замуж выйду.

— На кой ты мне черт нужна! — грубо сказал Иван. — Я лучше царевну какую-нибудь стрену…

— Не надо, Иван, — махнул рукой Илья, — не связывайся. Все они… не лучше этой вот. — Показал на Лизу. — На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заегозила-то? Куда вот парню… на ночь глядя! А и даст ли он ее, справку-то, ваш Мудрец? Тоже небось сидит там…

— Без справки нельзя, дядя Илья, — решительно сказала Лиза. — А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я те припомню!

— Иди, иди, Иван, — сказал Конторский. — Время позднее — тебе успеть надо.

— Прощайте, — сказал Иван. И вышел.

И пошел он куда глаза глядят.

Темно было… Шел он, шел — пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.

— Бедная моя головушка, — сказал, — пропадешь ты. Где этот Мудрец? Хоть бы помог кто.

Но никто ему не помог. Посидел-посидел Иван, пошел дальше.

Шел-шел, видит — огонек светится. Подходит ближе — стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.

— Есть тут кто-нибудь?! — крикнул Иван.

Вышла на крыльцо Баба-яга… Посмотрела на Ивана, спрашивает:

— Кто ты такой? И куда идешь?

— Иван-дурак, иду к Мудрецу за справкой, — ответил Иван. — А где его найти, не знаю.

— Зачем тебе справка-то?

— Тоже не знаю… Послали.

— А-а… — молвила Баба-яга. — Ну, заходи, заходи… Отдохни с дороги. Есть небось хочешь?

— Да не отказался бы…

— Заходи.

Зашел Иван в избушку.

Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати…

— Кто с тобой еще живет? — спросил Иван.

— Дочь. Иван, — заговорила яга, — а ты как дурак-то — совсем, что ли, дурак?

— Как это? — не понял Иван.

— Ну, полный дурак или это тебя сгоряча так окрестили? Бывает, досада возьмет — крикнешь: у, дурак! Я вот на дочь иной раз как заору: у, дура такая! А какая же она дура? Она у меня вон какая умная. Может, и с тобой такая история; привыкли люди: дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только… бесхитростный. А?

— Не пойму, ты куда клонишь-то?

— Да я же по глазам вижу: никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: «Ох и талантливый парень!» Или ты полностью поверил, что ты — дурак?

— Ничего я не поверил! — сердито сказал Иван. — Как это я про себя поверю, что я — дурак?

— А я тебе чего говорю? Вот люди, а?.. Ты строительством когда-нибудь занимался?

— Ну как?.. С отцом, с братьями теремки рубили… А тебе зачем?

— Понимаешь, хочу коттеджик себе построить… Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?

— Мне же справку надо добывать…

— Да зачем она тебе?! — воскликнула Баба Яга. — Построишь коттеджик… его увидют — ко мне гости всякие приезжают, — увидют — сразу: кто делал? Кто делал — Иван делал… Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.

— А как же справка? — опять спросил Иван. — Меня же назад без справки-то не пустют.

— Ну и что?

— Как же? Куда же я?

— Истопником будешь при коттеджике… Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале… Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали — куда? — пошли к Ивану: истории разные слушать. А ты им ври побольше… Разные случаи рассказывай. Я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать — Иванушка…

— Карга старая! — сказал Иван. — Ишь ты, какой невод завела!.. Иванушкой она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть? А ху-ху не хо-хо, бабуленька?

— А-а, — зловеще протянула Баба-яга, — теперь я поняла, с кем я имею дело: симулянт,

проходимец… тип. Мы таких знаешь что делаем — зажариваем. Ну-ка, кто там?! — И яга трижды хлопнула в ладошки. — Стража! Взять этого дурака, связать — мы его будем немножко жарить.

Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку.

— Последний раз спрашиваю, — еще попыталась Ба-ба-яга, — будешь коттеджик строить?

— Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное… У тебя в носу растут волосы.

— В печь его! — заорала яга. И затопала ногами. — Мерзавец! Хам!..

— От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидна! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет!.. Дармоедка!

— В огонь! — вовсе зашлась яга. — В ого-онь!!

Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.

— Ох, брил я тебя на завалинке! — запел Иван. — Подарила ты мене чулки-валенки!.. Оптирдарпупия! Мне в огне не гореть, карга! Так что я иду смело!

Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.

— Дочка едет! — обрадовалась Баба-яга и выглянула в окно. — У-у, да с женихом вместе! То-то

будет им чем поужинать.

Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.

— Змей Горыныч едет, Змей Горыныч едет! — закричали они. — Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!

Вошла в избушку дочка Бабы-яги, тоже сильно страшная, с усами.

— Фу-фу-фу! — сказала она. — Русским духом пахнет. Кто тут?

— Ужин, — сказала Баба-яга. И засмеялась хрипло: — Ха-ха-ха!..

— Чего ты? — рассердилась дочка. — Ржет, как эта… Я спрашиваю: кто тут?

— Ивана жарим.

— Да ну-у! — приятно изумилась дочка. — Ах, какой сюрприз!

— Представляешь, не хочет, чтобы в лесу было красиво — не хочет строить коттеджик, паразит.

Дочка заглянула в печку… А оттуда — не то плач, не то хохот.

— Ой, не могу-у!.. — стонал Иван. — Не от огня помру — от смеха!..

— Чего это? — зло спросила дочка Бабы-яги. И яга тоже подошла к печке. — Чего он?

— Хохочет?

— Чего ты, эй?

— Ой, помру от смеха! — орал Иван. — Ой, не выживу я!..

— Вот идиот-то! — сказала дочка. — Чего ты?

— Да усы-то!.. Усы-то… Ой, господи, ну бывает же такое в природе! Да как же ты с мужем-то будешь спать? Ты же замуж выходишь…

— Как все… А чего? — не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.

— Да усы-то!

— Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую.

— Да тебе-то не мешают… А мужу-то? Когда замуж-то выйдешь…

— А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж? — вовсе встревожилась дочка.

— Да как же? Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает: «Черт-те что: солдат не солдат и баба не баба». И разлюбит. Да нешто можно бабе с усами! Ну, эти ведьмы!.. Ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой. А то еще возьмет да голову откусит со зла, знаю я этих Горынычей.

Баба-яга и дочка призадумались.

— Ну-ка, вылазь, — велела дочь.

Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.

— Хорошо погрелся…

— А чего ты нам советуешь? — спросила Баба-яга. — С усами-то.

— Чего-чего… Свести надо усы, если хочете семейную жизнь наладить.

— Да как свести-то, как?

— Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете.

— Не кинем, Ванюшка, — заговорила ласково дочь Бабы-яги. — Отпустим тебя на все четыре стороны, скажи только, как от усов избавиться.

Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесари-сантехники.

— Это не просто, — заговорил он, — это надо состав делать…

— Ну и делай!

— Делай, делай… А когда же я к Мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться…

— Давай так, — заволновалась Баба-яга, — слушай сюда! Давай так: ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у Мудреца.

Иван призадумался.

— Быстрей! — заторопила усатая дочь. — А то Горыныч войдет.

Тут и Иван заволновался.

— Слушайте, он же войдет, так?..

— Ну?

— Войдет и с ходу сожрет меня.

— Он может, — сказала дочь. — Чего бы такое придумать?

— Я скажу, что ты мой племянник, — нашлась Баба-яга. — Понял?

— Давайте, — понял Иван. — Теперь — так: мой состав-то не сразу действует.

— Как это? — насторожилась дочь.

— Мы его счас наведем и наложим на лицо маску… Так? Я лечу на метле к Мудрецу, ты пока лежишь с маской…

— А обманет? — заподозрила дочь. — Мам?

— Пусть только попробует, — сказала Баба-яга, — пусть только надует: навернется с поднебесья — мокрое место останется.

— Ну, елки зеленые-то!.. — опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть. — Ну что за народ! В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что! Им дело говорят, понимаешь, — нет, они начинают тут… Вы меня уважаете, нет?

— При чем тут «уважаете»? Ты говори толком…

— Нет, не могу, — продолжал Иван тараторить. — Не могу, честное слово! Сердце лопнет.

Ну что за народ!

Да живи ты с усами, живи! Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Тьфу!.. А детишки народятся? Потянется сынок или дочка ручонкой: «Мама, а что это у тебя?» А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить: «Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами!» Легко будет ребенку? Легко будет слушать такие слова? Ни у кого нету мамки с усами, а у него — с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не сможет ответить, он зальется слезами и пойдет домой… к усатой мамке…

— Хватит! — закричала дочь Бабы-яги. — Наводи свой состав. Что тебе надо?

— Пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины — мы накладываем на лицо такую маску…

— На все лицо? Как же я дышать-то буду?

— Ну что за народ! — опять горько затараторил Иван. — Ну ничего невозможно…

— Ладно! — рявкнула дочь. — Спросить ничего нельзя!..

— Нельзя! — тоже рявкнул Иван. — Когда мастер соображает, нельзя ничего спрашивать! Повторяю: навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой — будешь дышать. Все.

— Слышали? — сказала яга стражникам. — Одна нога здесь, другая в сарае! Арш!

Стражники побежали за навозом, глиной и пометом.

А в это самое время в окно просунулись три головы Змея Горыныча… Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:

— Кто это?

— Это, Горыныч, племянник мой, Иванушка, — сказала яга. — Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем.

— Здравствуйте, дядя Горыныч! — поздоровался Иван. — Ну, как дела?

Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.

— Да ну что, елки зеленые? Что? Ну — племянник, ты же слышал! Пришел к тете Ежке. В гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать! А семью собираемся заводить: всех детишечек пожрем, да? Папа называется!..

Головы Горыныча посоветовались между собой.

— По-моему, он хамит, — сказала одна.

Вторая подумала и сказала:

— Дурак, а нервный.

А третья выразилась и вовсе кратко.

— Лангет, — сказала она.

— Я счас такой лангет покажу!.. — взорвался от страха Иван. — Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля? — Иван вскочил с лавки и забегал по избушке — изображал, что ищет волшебную саблю. — Я счас такое устрою!.. Головы надоело носить?! — Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него: жутко было смотреть на эти три спокойные головы. — Такое счас устрою!..

— Он просто расхамился, — опять сказала первая голова.

— Нервничает, — заметила вторая. — Боится.

А третья не успела ничего сказать: Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.

— Шпана, — сказал Иван. — Я тебя сам съем.

Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.

«Ванька, смотри!» — сказал Илья.

— Да что «Ванька», что «Ванька»! — воскликнул Иван. — Чего ванькать-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя… великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело! — Иван и

в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. — Жри, — сказал он, отвлекаясь от дудочки. — Жрать будешь? Жри, гад! Потом поцелуй свою усатую невесту. Потом рожайте усатых детей и маршируйте с имя. Он меня, видите ли, пугать будет!.. Хрен тебе! — И Ванька опять засвистел в свою дудочку.

— Горыныч, — сказала дочь, — плюнь — не обращай внимания. Не обижайся.

— Но он же хамит, — возразила первая голова. — Как он разговаривает!

— Он с отчаяния. Он не ведает, что творит.

— Я все ведаю, — встрял Иван, перестав дудеть. — Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш… для будущего батальона…

— Ванюшка, — заговорила Баба-яга кротко, — не хами, племяш. Зачем ты так?

— Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать! Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, — тогда вращай. А счас нечего.

— Нет, ну он же вовсю хамит! — чуть не плача, сказала первая голова. — Ну как же?..

— Заплачь, заплачь, — жестко сказал Иван. — А мы посмеемся. В усы.

— Хватит тянуть, — сказала вторая голова.

— Да, хватит тянуть, — поддакнул Иван. — Чего тянуть-то? Хватит тянуть.

— О-о! — изумилась третья голова. — Ничего себе!

— Ага! — опять дурашливо поддакнул Иван. — Во даёть Ванькя! Споем? — И Ванька запел:

Эх, брил я тебя
На завалинке,
Подарила ты мене
Чулки-валенки…

Горыныч, хором! Опти-ирдарпупия! — допел Ванька. И стало тихо. И долго было тихо.

— А романсы умеешь? — спросил Горыныч.

— Какие романсы?

— Старинные.

— Сколько угодно… Ты что, романсы любишь? Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хошь. Завалю романсами. Например:

Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя-а,
Золотою казной
Я осыплю тебя-а!..

А? Романс?! — Ванька почуял некую перемену

в Горыныче, подошел к нему и похлопал одну голову по щеке. — Ух ты… свирепый. Свирепунчик ты мой!

— Не ёрничай, — сказал Горыныч. — А то откушу руку.

Ванька отдернул руку.

— Ну, ну, ну, — молвил он мирно, — кто же так с мастером разговаривает? Возьму вот и не буду петь.

— Будешь, — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. — Я тебе возьму и голову откушу.

Две другие головы громко засмеялись. И Иван тоже мелко и невесело посмеялся.

— Тогда-то уж я и вовсе не спою — нечем: чем же я петь-то буду?

— Филе, — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.

— А тебе бы все жрать! — обозлился на нее Иван. — Все бы ей жрать! Живоглотка какая-то.

— Ванюшка, не фордыбачь, — сказала Баба-яга. — Пой.

— Пой, — сказала и дочь. — Разговорился! Есть слух — пой.

— Пой, — велела первая голова. — И вы тоже пойте.

— Кто? — не поняла Баба-яга. — Мы?

— Вы. Пойте.

— Может быть, я лучше одна? — вякнула дочь; ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. — С мужиком петь… Ты меня извини, но…

— Три-четыре, — спокойно сказал Горыныч. — Начали.

Дам коня, дам седло, —

запел Иван.

Баба-яга с дочкой подхватили:

Дам винтовку свою-у,
А за это за все
Ты отдай мне жену-у.
Ты уж стар, ты уж се-ед,
Ей с тобой не житье:
С молодых юных ле-ет
Ты погубишь ее-о-о.

Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились: как всякий деспот, он был слезлив.

— Дальше, — тихо сказал он.

Под чинарой густой, —

пел дальше Иван, —

Мы сидели вдвое-ом;

Месяц плыл золотой,

Все молчало круго-ом.

И Иван с чувством повторил еще раз, один:

Эх, месяц плыл золотой,

Все молчало круго-ом.

— Как ты живешь, Иван? — спросил растроганный Горыныч.

— В каком смысле? — не понял тот.

— Изба хорошая?

— А-а. Я счас в библиотеке живу, вместе со всеми.

— Хочешь отдельную избу?

— Нет. Зачем она мне?

— Дальше.

Она мне отдала-ась, —

повел дальше Иван, —

До последнего дня-а…

— Это не надо, — сказал Горыныч. — Пропусти.

— Как же? — не понял Иван.

— Пропусти.

— Горыныч, так нельзя, — заулыбался Иван, — из песни слова не выкинешь.

Горыныч молча смотрел на Ивана; опять воцарилась эта нехорошая тишина.

— Но ведь без этого же нет песни! — занервничал Иван. — Ну? Песни-то нету!

— Есть песня, — сказал Горыныч.

— Да как же есть? Как же есть-то?!

— Есть песня. Даже лучше — лаконичнее.

— Ну, ты смотри, что они делают! — Иван даже хлопнул в изумлении себя по ляжкам. — Что хотят, то и делают! Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни!.. Не буду петь лаконичнее. Всё.

— Ванюшка, — сказала Баба-яга, — не супротивничай.

— Пошла ты!.. — вконец обозлился Иван. — Сами пойте. А я не буду. В гробу я вас всех видел! Я вас сам всех сожру! С усами вместе. А эти три тыквы… я их тоже буду немножко жарить…

— Господи, сколько надо терпения… — вздохнула первая голова Горыныча. — Сколько надо сил потратить, нервов… пока их научишь. Ни воспитания, ни образования…

— Насчет «немножко жарить» — это он хорошо сказал, — молвила вторая голова. — А?

— На какие усы ты все время намекаешь? — спросила Ивана третья голова. — Весь вечер

сегодня слышу: «усы, усы…» У кого усы?

А па-арень улыбается

В пшеничные усы, —

шутливо спела первая голова. — Как там дальше про Хаз-Булата?

— «Она мне отдалась», — отчетливо сказал Иван.

Опять сделалось тихо.

— Это грубо, Иван, — сказала первая голова. — Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь… Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, Бедная Лиза… прекрасная девушка, я отца ее знал… Она — невеста твоя?

— Кто? Лизка? Еще чего!

— Как же? Она тебя ждет.

— Пусть ждет — не дождется.

— Мда-а… Фрукт, — сказала третья голова.

А голова, которая все время к жратве клонила, возразила.

— Нет, не фрукт, — сказала она серьезно. — Какой же фрукт? Уж во всяком случае — лангет. Возможно, даже шашлык.

— Как там дальше-то? — вспомнила первая голова. — С Хаз-Булатом-то?

— Он его убил, — покорно сказал Иван.

— Кого?

— Хаз-Булата.

— Кто убил?

— М-м… — Иван мучительно сморщился. — Молодой любовник убил Хаз-Булата. Заканчивается песня так: «Голова старика покатилась на луг».

— Это тоже не надо. Это жестокость, — сказала голова.

— А как надо?

Голова подумала.

— Они помирились. Он ему отдал коня, седло — и они пошли домой. На какой полке ты там сидишь, в библиотеке-то?

— На самой верхней… Рядом с Ильей и донским атаманом.

— О-о! — удивились все в один голос.

— Понятно, — сказала самая умная голова Горыныча, первая. — От этих дураков только и наберешься… А зачем ты к Мудрецу идешь?

— За справкой.

— За какой справкой?

— Что я умный.

Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба-яга и дочь тоже подхихикнули.

— А плясать умеешь? — спросила умная го-

лова.

— Умею, — ответил Иван. — Но не буду.

— Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить, — встряла Баба-яга. — Я подняла эту тему.

— Ти-хо! — рявкнули все три головы Горыныча. — Мы никому больше слова не давали!

— Батюшки мои, — шепотом сказала Баба-яга, — сказать ничего нельзя.

— Нельзя! — тоже рявкнула дочь. И тоже на Бабу-ягу: — Базар какой-то!

— Спляши, Ваня, — тихо и ласково сказала самая умная голова.

— Не буду плясать, — уперся Иван.

Голова подумала.

— Ты идешь за справкой… — сказала она. — Так?

— Ну. За справкой.

— В справке будет написано: «Дана Ивану… в том, что он — умный». Верно? И — печать.

— Ну.

— А ты не дойдешь. — Умная голова спокойно смотрела на Ивана. — Справки не будет.

— Как это — не дойду? Если я пошел, я дойду.

— Не. — Голова все смотрела на Ивана. — Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь.

Иван постоял в тягостном раздумье… Поднял

руку и печально возгласил:

— Сени!

— Три-четыре, — сказала голова. — Пошли!

Баба-яга и дочь запели:

Ох вы, сени, мои сени,

Сени новые мои…

Они пели и прихлопывали в ладоши.

Сени новые-преновые,

Решетчатые…

Иван двинулся по кругу, пристукивая лапоточками… И руки его висели вдоль тела: он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.

— А почему соколом не смотришь? — спросила голова.

— Я смотрю, — ответил Иван.

— Ты в пол смотришь.

— Сокол же может задуматься?

— О чем?

— Как дальше жить… Как соколят вырастить… Пожалей ты меня, Горыныч! — взмолился Иван. — Ну, сколько уж? Хватит…

— А-а, — сказала умная голова, — вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал

тут… строить из себя. Шмакодявки! Свистуны! Чего ты начал строить из себя?

Иван молчал.

— Становись лицом к двери, — велел Горыныч.

Иван стал лицом к двери.

— По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука.

— Со звуком — это ты лишку хватил, Горыныч, — возразил Иван. — Я не сумею так.

— Как сумеешь. Приготовились… Три-четыре!

Иван вылетел из избушки.

Три головы Горыныча, Баба-яга и дочь засмеялись.

— Иди сюда, — позвал Горыныч невесту, — я тебя ласкать буду.

А Иван шел опять темным лесом… И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лесину и закручинился.

— В душу как вроде удобрение свалили, — грустно сказал он. — Вот же как тяжко! Достанется мне эта справка…

Сзади подошел медведь и тоже присел на лесину.

— Что такой печальный, мужичок? — спросил медведь.

— Да как же!.. — сказал Иван. — И страху натерпелся, и напелся, и наплясался… И уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо — ложись и помирай.

— Где это ты так?

— Ав гостях… Черт занес. У Бабы-яги.

— Нашел к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?

— Да зашел по пути…

— А куда идешь-то?

— К Мудрецу.

— Во-он куда! — удивился медведь. — Далеко.

— Не знаешь ли, как к нему идти?

— Нет. Слыхать слыхал про такого, а как идти — не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся… Иду вот тоже, а куда иду — не знаю.

— Прогнали, что ль?

— Да и прогнать не прогнали, и… Сам уйдешь. Эт-то вот — недалеко — монастырь, ну, жили себе… И я возле питался — там пасек много. И облюбовали же этот монастырь черти. Откуда только их нашугало! Обложили весь монастырь — их вовнутрь-то не пускают, — с утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают.

— А чего хотят-то?

— Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и

оглушают их, стражников-то, бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают — сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу — завязывай глаза и беги! Страсть что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле их научился… — Медведь достал пачку сигарет и закурил. — Нет житья никакого… Подумал, подумал — нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж…

— Это скверно.

— Уж куда как скверно! Медведицу избил… льва в лесу искал… Стыд головушке! Нет, думаю, надо уходить. Вот — иду.

— Не знают ли они про Мудреца? — спросил Иван.

— Кто? Черти? Чего они не знают-то? Они все знают. Только не связывайся ты с имя: пропадешь. Пропадешь, парень.

— Да ну… чего, поди?

— Пропадешь. Попытай, конечно, но… гляди. Злые они.

— Я сам злой счас… Хуже черта. Вот же как он меня исковеркал!.. Всего изломал.

— Кто?

— Змей Горыныч.

— Бил, что ли?

— Да и не бил, а… хуже битья. И пел перед ним, и плясал… тьфу! Лучше бы уж избил.

— Унизил?

— Унизил. Да как унизил!.. Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их. А?

— Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч… Гад, одно слово. Брось. Уйди лучше. Живой ушел, и то слава богу. Эту шайку не одолеешь: везде достанут.

Они посидели молча, медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.

— Прощай.

— Прощай, — откликнулся Иван. И тоже поднялся.

— Аккуратней с чертями-то, — еще раз посоветовал медведь. — Эти похуже Горыныча будут… Забудешь, куда идешь. Все на свете забудешь. Ну и охальное же племя! На ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у их: захомутали.

— Ничего, — сказал Иван. — Бог не выдаст — свинья не съест. Как-нибудь вывернусь. Надо же где-то Мудреца искать… леший-то навязался на мою голову. А время — до третьих петухов только.

— Ну, поспешай, коли так. Прощай.

— Прощай.

И они разошлись.

Из темноты еще медведь крикнул:

— Вон, слышь, музыка?

— Где?

— Да послушай!.. «Очи черные» играют.

— Слышу.

— Вот иди на музыку — они. Вишь наяривают! О господи! — вздохнул медведь. — Вот чесотка-то мировая! Ну чесотка… Не хочут жить на болоте, никак не хочут, хочут в кельях.

…А были — ворота и высокий забор. На воротах написано:

ЧЕРТЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом.

Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты… Один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидели вокруг коньяка и закуски — вы-

пивали. А четверо — три музыканта с гитарами и девица — стояли прямо перед стражником: девица красиво пела «Очи черные». Гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах… Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.

— Хлеб да соль! — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали.

Его оглядели с ног до головы… И отвернулись.

— Что же с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван.

Его опять оглядели.

— А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами.

— Я князь такой, что если счас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Стать!

Черти изумились… Смотрели на Ивана.

— Я кому сказал?! — Иван дал ногой по бутылкам. — Стать!!!

Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках.

— В чем дело, дружок? — заговорил он, беря

Ивана под руку. — Чего мы шумим? М-м? У нас где-нибудь бобо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?

— Надо справку, — зло сказал Иван.

К ним еще подошли черти… Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван.

— Продолжайте! — крикнул изящный музыкантам и девице. — Ваня, какую справку надо? О чем?

— Что я — умный.

Черти переглянулись… Быстро и непонятно переговорили между собой.

— Шизо, — сказал один. — Или авантюрист.

— Не похоже, — возразил другой. — Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо?

— Одну.

— А какую справку, Ваня? Они разные бывают… Бывает — характеристика, аттестат… Есть о наличии, есть об отсутствии, есть «в том, что», есть «так как», есть «ввиду того что», а есть «вместе с тем что» — разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?

— Что я умный.

— Не понимаю… Диплом, что ли?

— Справку.

— Но их сотни, справок! Есть «в связи с тем

что», есть «несмотря на то что», есть…

— Понесу ведь по кочкам! — сказал Иван с угрозой. — Тошно будет. Или спою «Отче наш».

— Спокойно, Ваня, спокойно, — занервничал изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять — какую? Мы тебе сделаем…

— Мне липовая справка не нужна, — твердо сказал Иван, — мне нужна такая, какие выдает Мудрец.

Тут черти загалдели все разом.

— Ему нужна только такая, какие выдает Мудрец.

— О-о!..

— Липовая его не устраивает… Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико!

— Какой митрополит! Он нам споет «Отче наш»! А «сухой бы я корочкой питалась» ты нам споешь?

— Ша, черти! Ша… Я хочу знать: как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа! То ж элементарный арапинизм! Что значит, что этот пошехонец понесет нас?

Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон. И все галдели и размахивали руками.

— Он опрокинул коньяк!..

— Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж?

— Кубок «Большого орла» ему!

— Тумаков ему! Тумаков!..

Дело могло обернуться плохо; Ивана теснили.

— Ша, черти! Ша! — крикнул Иван. И поднял руку. — Ша, черти! Есть предложение!..

— Ша, братцы, — сказал изящный черт. — Есть предложение. Выслушаем предложение.

Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. Другие тоже посматривали туда же.

Перед стражником по-прежнему «несли вахту» девица и музыканты: девица пела теперь иронической песенку «Разве ты мужчина!». Она пела и пританцовывала.

— Я не очень уверен, — сказал изящный черт. — Но… А?

— Это надо проверить, — заговорили и другие. — Это не лишено смысла.

— Да, это надо проверить. Это не лишено смысла.

— Мы это проверим, — сказал изящный черт своему помощнику. — Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с

Иваном нашего черта, и он делает так, что Мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть.

— Но без обмана! — сказал Иван. — Если Мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками… беру вашего черта…

— Ша, Иван, — сказал изящный черт. — Не надо лишних слов. Все будет о'кей. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.

— Анкетные данные стражника, — сказал тот. — Где родился, кто родители… И еще одна консультация Ивана.

— Картотека, — кратко сказал изящный.

Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал.

Прибежали с данными. Один доложил:

— Из Сибири. Родители — крестьяне.

Изящный черт, Иван и маэстро посовещались накоротке.

— Да? — спросил изящный.

— Как штык, — ответил Иван. — Чтоб мне сдохнуть!

— Маэстро?..

— Через… две с половиной минуты, — ответил маэстро, поглядев на часы.

— Приступайте, — сказал изящный.

Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались… Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни, негромкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко; черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми, показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином — в любви, в сострадании.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит —
О родине что-то поет.

Ах, как они пели!.. Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами; он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

Бродяга Байкал переехал —

Навстречу родимая мать.

– Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная,

Здоров ли отец мой и брат?

Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.

— М-мх… — сказал он.

А в пустые ворота пошли черти.

А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни — звала на простор, на вольную волю.

А черти шли и шли в пустые ворота.

Стражнику поднесли огромную чару… Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал:

— М-мх…

– Отец твой давно уж в могиле,

Сырою землею зарыт.

А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Стражник дал кулаком по колену, поднял голову — лицо в слезах.

– А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит, —

сказал он страдальческим голосом: — «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Дай «Камаринскую»!.. Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!

— Нельзя, мужичок, нельзя, — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и все забудешь.

— Кто?! — заорал стражник. И лапнул маэстро за грудки. — Кто тут меня учить будет?! Ты, козел? Да я тебя… в три узла завяжу, вонючка! Я вас всех понесу по кочкам!..

— Что они так обожают кочки? — удивился изящный черт. — Один собирался нести по кочкам, другой… Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? — спросил он стражника.

— Цыть! — сказал стражник. — «Камаринскую»!

— «Камаринскую», — велел изящный музыкантам.

— Вина! — рявкнул стражник.

— Вина, — покорно вторил изящный.

— Может, не надо? — заспорил притворяшка маэстро. — Ему же плохо будет.

— Нет, надо! — повысил голос изящный черт. — Ему будет хорошо!

— Друг!.. — заревел стражник. — Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!..

— Иду! — откликнулся изящный черт. — Счас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут!..

Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника; особенно изумил его изящный черт.

— Ты-то чего раздухарился, эй? — спросил он его.

— Цыть! — рявкнул изящный черт. — А то я тебя так понесу по кочкам, что ты…

— Что-что? — угрожающе переспросил Иван. И поднялся. — Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка повтори.

— Ты на кого это тут хвост поднимаешь? — тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. — На моего друга?! Я из тебя лангет сделаю!

— Опять лангет, — сказал Иван, останавливаясь. — Вот дела-то!

— «Камаринскую»! — раскапризничался изящ-

ный черт. — Иван нам спляшет. «Камаринскую»! Ваня, давай!

— Пошел к дьяволу! — обозлился Иван. — Сам давай… с другом вон.

— Тогда я не посылаю с тобой черта, — сказал изящный черт. И внимательно и злобно посмотрел на Ивана. — Понял? Попадешь ты к Мудрецу!.. Ты к нему никогда не попадешь.

— Ах ты, харя ты некрещеная! — задохнулся от возмущения Иван. — Да как же это? Да нешто так можно? Где же стыд-то у тебя? Мы же договорились. Я же такой грех на душу взял — научил вас, как за ворота пройти.

— Последний раз спрашиваю: будешь плясать?

— О-о, проклятие!.. — застонал Иван. — Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?

— «Камаринскую»! — велел изящный черт. — «Пошехонские страдания».

Музыканты-черти заиграли «Камаринскую». И Иван пошел опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал.

— Эх, справочка!.. — воскликнул он зло и горько. — Дорого же ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого!..

И вот — канцелярия. О, канцелярия! Вот уж

канцелярия так канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную Мудреца.

— Минуточку, — сказал черт, когда вошли в приемную. — Посиди тут… Я скоро. — И куда-то убежал.

Иван огляделся.

В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только эта — другого цвета и зовут Милка. А ту — Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.

— Ой, ну это ж пшено! — говорила она в одну трубку и улыбалась. — Помнишь, у Моргуновых: она напялила на себя желтое блестящее платье — копну сена, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?

И тут же — в другую, строго:

— Его нету. Не зна… А вы не интонируйте, не интонируйте, я вам пятый раз говорю: его нету. Не знаю.

— Во сколько ты там был? В одиннадцать? Один к одному? Интересно… Она была одна? Она кадрилась к тебе?

— Слушайте, я же ска… А вы не интонируйте,

не интонируйте. Не знаю.

Иван вспомнил: их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:

— А бугор когда будет в яме? — Он вдруг что-то разозлился на эту Милку.

Милка мельком глянула на него.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Я спрашиваю: когда бу…

— По какому вопросу?

— Нужна справка, что…

— Понедельник, среда, девять тире одиннадцать.

— Мне… — Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов.

Милка опять отстукала:

— Понедельник, среда, с девяти до одиннадцати. Тупой?

— Это пшено, — сказал Иван. И встал и вольно прошелся по приемной. — Я бы даже сказал — компот. Как говорит наша Галка, «собачья радость на двух», «смесь козла с «Грюндиком». Я спрашиваю глобально: ты невеста? И сам отвечаю: невеста. Один к одному. — Иван все больше накалялся. — Но у тебя же — посмотри на себя — у

тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Ты вот спроси у меня — я вечный жених — спроси: появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси.

— Появилась охота?

— Нет, — твердо сказал Иван.

Милка засмеялась и захлопала в ладоши.

— Ой, а еще? — попросила она. — Еще что-нибудь. Ну пожалуйста.

Иван не понял, что «еще».

— Еще покажите что-нибудь.

— А-а, — догадался Иван, — ты решила, что я — шут гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках… Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас… глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как… Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..

Милка опять громко засмеялась:

— Ой, как интересно! А еще, а?

— Худо будет! — закричал Иван. — Ой, худо будет!.. Лучше вы меня не гневите, не гневите лучше!..

Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван

орет на девицу.

— Тю, тю, тю, — испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. — Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать?.. А-я-я-я-ай! Отойти никуда нельзя. Предисловий начитался, — пояснил он девице «выступление» Ивана. — Сиди тихо, счас нас примут. Счас они придут… Я там договорился: нас примут в первую очередь.

Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький — сам Мудрец, как понял Иван.

— Чушь, чушь, чушь, — быстро сказал он на ходу. — Василиса никогда на Дону не была.

Черт почтительно склонил голову.

— Проходите, — сказал Мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь. И исчез в кабинете.

— Пошли, — подтолкнул черт Ивана. — Не вздумай только вылететь со своими предисловиями… Поддакивай, и всё.

…Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.

— Откуда?! Откуда они это взяли?! — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. — Откуда?!

— Чего ты расстроился, батя? — спросил Иван участливо.

Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.

— Ну? — спросил он сурово и непонятно. — Облапошили Ивана?

— Почему вы так сразу ставите вопрос?.. — увертливо заговорил черт. — Мы, собственно, давно хотели…

— Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?

— Разрушение примитива, — твердо сказал черт.

Мудрец погрозил ему пальцем:

— Озоруете! А теоретически не готовы.

— Нет, ну серьезно… — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. — Ну тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят!

— Что им, в полупендриках ваших ходить?

— Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете — мода. А я скажу: да, мода! Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.

— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — заговорил старик важно и взволнованно, — а о возможном положительном влиянии крайне

бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали…

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии…

— Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции: моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается: моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию, все явление подпрыгивает и продвигается вперед; если раздражитель попал на тормозную, все явление, что называется, съеживается и отползает в глубь себя. — Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. — Обычно этого не понимают.

— Почему, это же так понятно, — сказал черт.

— Я все время твержу, — продолжал Мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции! Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах: одна говорит «да», другая говорит «нет».

— Я видел явление о трех головах… — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.

— Ударим одну голову — услышим «да», уда-

рим другую — услышим «нет». — Старик Мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. — Какую ударили вы?

— Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь ответил черт.

Старик опустил руку.

— Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», — крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите. И — с теорией, с теорией мне!.. — Старик опять погрозил пальцем черту. — Манкируете! Смотрите! Распушу!.. Ох, распушу!

Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу… Задом открыл дверь и так, с подкупающей улыбкой на мордочке, исчез.

Иван же как стоял, так и упал на колени перед Мудрецом.

— Батя! — взмолился он. — Ведь на мне грех-то: я научил чертей, как пройти в монастырь…

— Ну?.. Встань-ка, встань — я не люблю этого. Встань, — велел Мудрец.

Иван встал.

— Ну? И как же ты их научил? — с улыбкой спросил старик.

— Я подсказал, чтобы они спели родную песню

стражника… Они там мельтешили перед ним — он держался пока, а я говорю: «Вы родную его запойте, родную его…» Они и запели…

— Какую же они запели?

— «По диким степям Забайкалья».

Старик засмеялся.

— Ах, шельмы! — воскликнул он. — И хорошо запели?

— Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило.

— А ты петь умеешь? — быстро спросил Мудрец.

— Ну, как умею?.. Так…

— А плясать?

— А зачем? — насторожился Иван.

— Ну-ка… — заволновался старичок. — Вот чего! Поедем-ка мы в одно место. Ах, Ваня!.. Устаю, дружок, так устаю — боюсь, упаду когда-нибудь и не встану. Не от напряжения упаду, заметь, — от мыслей.

Тут вошла секретарша Милка. С бумагой.

— Сообщают: вулкан «Дзидра» готов к извержению, — доложила она.

— Ага! — воскликнул старичок и пробежался по кабинету. — Что? Толчки?

— Толчки. Температура в кратере… Гул.

— Пойдем от аналогии с беременной женщиной, — подстегнул свои мысли старичок. — Толчки… Есть толчки? Есть. Температура в кратере… Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть? Гул, гул… — Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. — А что такое гул?

Милка не знала.

— Что такое гул? — Старичок нацелился в Ивана.

— Гул?.. — Иван засмеялся. — Это смотря какой гул… Допустим, гул сделает Илья Муромец — это одно, а сделает гул Бедная Лиза — это…

— Вульгартеория, — прервал старичок Ивана. — Гул — это сотрясение воздуха.

— А знаешь, как от Ильи сотрясается! — воскликнул Иван. — Стекла дребезжат!

— Распушу! — рявкнул старичок. Иван смолк. — Гул — это не только механическое сотрясение, это также… утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять…

— Ухо-то не может воспринять, а… — не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор:

— Ну что тебя — распушить?

— Не надо, — попросил Иван, — больше не буду.

— Продолжим. Все три признака великой аналогии — налицо. Резюме? Резюме: пускай извергается. — Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу: — Так и запишите.

Секретарша Милка так и записала. И ушла.

— Устаю, Ваня, дружок, — продолжал старичок свою тему, как если бы он и не прерывался. — Так устаю, что иногда кажется: всё!., больше не смогу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент — и опять накладываю. По семьсот, по восемьсот резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз… — Старичок тонко, блудливо засмеялся. — Захочется иной раз пощипать… травки пощипать, ягодки… черт-те что!.. И, знаешь ли, принимаю решение… восемьсот первое: перекур! Есть тут одна такая… царевна Несмеяна, вот мы счас и нагрянем к ней.

Опять вошла секретарша Милка.

— Сиамский кот Тишка прыгнул с восьмого этажа.

— Разбился?

— Разбился.

Старичок подумал…

— Запишите, — велел он. — Кот Тимофей не

утерпел.

— Всё? — спросила секретарша.

— Всё. Какая по счету резолюция на сегодня?

— Семьсот сорок восьмая.

— Перекур.

Секретарша Милка кивнула головой. И вышла.

— К царевне, дружок! — воскликнул освобожденный Мудрец. — Сейчас мы ее рассмешим! Мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех… А?

— Я ничего. До третьих петухов-то успеем? Мне еще идти сколько.

— Успеем! Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?

— Я не про тот грех… Чертей, мол, в монастырь пустили — вот грех-то.

Старичок значительно подумал.

— Чертей-то?.. Да, — сказал он непонятно. — Все не так просто, дружок, все, милый мой, очень и очень непросто. А кот-то… а? Сиамский-то. С восьмого этажа! Поехали!

Несмеяна тихо зверела от скуки.

Сперва она лежала просто так… Лежала, лежала и взвыла.

— Повешусь! — заявила она.

Были тут еще какие-то молодые люди, пар-

ни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами — загорали. И всем было страшно скучно.

— Повешу-усь! — закричала Несмеяна. — Не могу больше!

Молодые люди выключили транзисторы.

— Ну, пусть, — сказал один. — А что?

— Принеси веревку, — попросили его.

Этот, которого попросили, полежал, полежал… Сел.

— А потом — стремянку? — сказал он. — А потом — крюк искать? Я лучше пойду ей по морде дам.

— Не надо, — сказали. — Пусть вешается, — может, интересно будет.

Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра.

— Люстру сними пока, — посоветовали.

— Сам снимай! — огрызнулся парень.

Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку — снимать люстру. Мало-помалу задвигались… Дело появилось.

— Веревку-то надо намылить.

— Да, веревку намыливают… Где мыло?

Пошли искать мыло.

— Есть мыло?

— Хозяйственное… Ничего?

— Какая разница! Держи веревку. Не оборвется?

— Сколько в тебе, Алка? (Алка — это и есть Несмеяна.) Сколько весишь?

— Восемьдесят.

— Выдержит. Намыливай.

Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку. Слезли со стремянки…

— Давай, Алка.

Алка-Несмеяна вяло поднялась… Зевнула и полезла на стремянку. Влезла…

— Скажи последнее слово, — попросил кто-то.

— Ой, только не надо! — запротестовали все остальные.

— Не надо, Алка, не говори.

— Этого только не хватает!

— Умоляю, Алка!.. Не надо слов. Лучше спой.

— Ни петь, ни говорить я не собираюсь, — сказала Алка.

— Умница! Давай.

Алка надела на шею петлю… постояла.

— Стремянку потом ногой толкни.

Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла.

— Тоже скучно-о!.. — не то пропела она, не то заплакала. — Не смешно-о!

С ней согласились:

— Действительно.

— Ничего нового: было-перебыло.

— К тому же — патология.

— Натурализм.

И тут-то вошли Мудрец с Иваном.

— Вот, изволь, — бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки, — дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!.. Разумеется, все средства испробованы, а как избавиться от скуки — такого средства нет. Так ведь? А, Несмеянушка?

— Ты прошлый раз обещал что-нибудь придумать, — капризно сказала Несмеяна со стремянки.

— А я и придумал! — воскликнул старичок весело. — Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех… Враги терялись и отходили. Надо знать историю, ми-

лые люди… А то мы… слишком уж остроумные, интеллектуальные… а родной истории не знаем. А, Несмеянушка?

— Что ты придумал? — спросила Несмеяна.

— Что я придумал? Я взял и обратился к народу! — не без пафоса сказал старичок. — К народу, к народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?

— Да мне как-то неловко: они нагишом все… — сказал Иван. — Пусть хоть оденутся, что ли.

Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно — показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости.

— Ваня, это… ну, скажем так: не нашего ума дело. Наше дело — петь и плясать. Верно? Балалайку!

Принесли балалайку.

Иван взял ее. Потренькал, потинькал — подстроил… Вышел за дверь… И вдруг влетел в комнату — чуть не со свистом и с гиканьем — с частушкой:

Эх, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит, шевелит…

— О-о! — застонали молодые и Несмеяна. — Не

надо! Ну, пожалуйста… Не надо, Ваня.

— Так, — сказал старичок. — На языке офеней это называется — не прохонже. Двинем резерв. Перепляс!.. Ваня, пли!

— Пошел к чертовой матери! — рассердился Иван. — Что я тебе — Петрушка? Ты же видишь, им не смешно! И мне тоже не смешно.

— А справка? — зловеще спросил старичок. — А? Справка-то… Ее ведь надо заработать.

— Ну вот, сразу — в кусты. Как же так, батя?

— А как же! Мы же договорились.

— Но им же не смешно! Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то… Ну стыдно же, ну.

— Не мучай человека, — сказала Несмеяна старичку.

— Давай справку, — стал нервничать Иван. — И так проваландались сколько. Я же не успею. Первые петухи-то когда ишо пропели!.. Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть. А мне ишо идти да идти.



Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт — решил сделать Ивана посмешищем: так охота ему стало угодить своей «царевне», так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов.

— Справку? — спросил он с дурашливым недоумением. — Какую справку?

— Здрасте! — воскликнул Иван. — Я же говорил…

— Я забыл, повтори.

— Что я умный.

— А! — «вспомнил» старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. — Тебе нужна справка, что ты умный. Я вспомнил. Но как же я могу дать такую справку? А?

— У тебя же есть печать…

— Да печать-то есть… Но я же не знаю: умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты — дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса, ответишь — дам тебе справку, не ответишь — не обессудь.

— Давай, — с неохотой сказал Иван. — Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак.

— Предисловия пишут… Знаешь, кто предисловия пишет?

— Это что, первый вопрос?

— Нет, нет. Это еще не вопрос. Это так… Вопрос вот какой: что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам? — Старичок искоса лукаво поглядел на свою «царевну» и на других молодых: поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. — Ну?.. Что же сказал Адам?

— Не смешно, — сказала Несмеяна. — Тупо. Плоско.

— Самодеятельность какая-то, — сказали и другие.

— Идиотизм. Что он сказал? «Сам сотворил, сам и живи с ней»?

Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил:

— Очень близко!.. Очень!

— Мог бы и поостроумнее сказать.

— Минуточку!.. Минуточку!.. — суетился старичок. — Самое интересное, как ответит Иван! Ваня, что сказал Адам?

— А можно, я тоже задам вопрос? — в свою очередь спросил Иван. — Потом…

— Нет, сначала ответь: что сказал…

— Нет, пусть он спросит, — закапризничала Несмеяна. — Спроси, Ваня.

— Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?

— Спроси, Ваня. Спроси, Ваня. Ваня, спроси. Спроси, Ваня!

— Ну-у, это уже ребячество, — огорчился старичок. — Хорошо, спроси, Ваня.

— Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро? — Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.

— То есть? — опешил тот.

— Нет, нет, не «то есть», а — почему? — заинтересовалась Несмеяна. — И почему ты это скрывал?

— Это уже любопытно, — заинтересовались и другие. — Лишнее ребро? Это же из ряда вон!..

— Так вот вся мудрость-то откуда!

— Ой, как интересно-о!

— Покажите, пожалуйста… Ну, пожалуйста!..

Молодые люди стали окружать старичка.

— Ну, ну, ну, — испугался старичок, — зачем же так? Ну что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?

Старичка окружали все теснее. Кто-то уже

тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны — Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.

— И скрывать, действительно, такое преимущество… Зачем же?

— Подержите-ка пиджак, пиджак подержите!.. О, тут не очень-то их прощупаешь!

— Прекратите! — закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. — Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а они… Иван, скажи, что ты пошутил!

— По-моему, я уже нащупал!.. Рубашка мешает, — вовсю шуровал один здоровенный парень. — У него тут еще майка… Нет, теплое белье! Синтетическое. Лечебное. Подержите-ка рубашку…

С Мудреца сняли пиджак, брюки… Сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.

— Это безобразие! — кричал он. — Здесь же нет основания для юмора! Когда смешно? Смешно, когда намерения, цель и средства — все искажено! Когда налицо отклонение от нормы!..

Здоровенный парень деликатно похлопал его

по круглому животу:

— А это?.. Разве не отклонение?

— Руки прочь! — завопил старичок. — Идиоты! Придурки!.. Никакого представления, что такое смешно!.. Кретины! Лежебоки…

В это время его аккуратненько пощекотали, он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и телки стояли весьма плотно.

— Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?

— Да какое ребро?! Ой, ха-ха-ха!.. Да где? Ха-ха-ха!.. Ой, не могу!.. Это же… ха-ха-ха!.. Это же… ха-ха-ха!..

— Дайте ему сказать.

— Это примитив! Это юмор каменного века! Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением… Ха-ха-ха!.. О-о-о!.. — И тут старичок пукнул, так это по-старчески, негромко — дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как! — взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла двинуться от смеха. Иван полез и снял ее. И положил рядом с другими — хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане… И

нашел. Печать. И взял ее.

— Вы пока тут занимайтесь, — сказал он, — а мне пора отправляться.

— Зачем же ты всю-то… печать-то? — жалко спросил Мудрец. — Давай, я тебе справку выдам.

— Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд. — Иван пошел к двери. — Прощайте.

— Это вероломство, Иван, — сказал Мудрец. — Насилие.

— Ничего подобного. — Иван тоже стал в позу. — Насилие — это когда по зубам бьют.

— Я ведь наложу резолюцию! — заявил Мудрец с угрозой. — Наложу ведь — запляшете!

— Слабо, батя! — крикнули из компании молодых. — Клади!

— Возлюбленный мой! — заломила руки в мольбе Несмеяна. — Наложи! Колыхни атмосферу!

— Решение! — торжественно объявил Мудрец. — Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем — смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным.

И грянула вдруг дивная стремительная му-

зыка… И хор. Хор, похоже, поет и движется — приплясывают.

ПЕСЕНКА ЧЕРТЕЙ

Аллилуя – вот,
Три-четыре – вот,
Шуры-муры.
Шуры-муры.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ —
Политуру.
Политуру.
Аллилуя-а!
Аллилуя-а!

Наше – вам
С кистенем;
Под забором,
Под плетнем —
Покультурим.
Покультурим.

Аллилуя-а!

Аллилуя-а!

Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э!.. То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся.

Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь; над лесом, близко, висела луна.

На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовский ход: черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг.

Ивану стало жалко монахов. Но когда он подошел ближе, он увидел: монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько — в основном пожилые — сидели в горестных позах на земле и покачивали головами… Но вот диковина: хоть и грустно они покачивали, а все же — в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притопывать ногой, словно зуд его охватил.

Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре

— видно, устали черти, передых взяли. Монахи отошли от забора… И тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.

— Ну-ка, брысь! — сказал он черту. — Ты как здесь?..

Черт-стражник снисходительно улыбался.

— Иди, иди, дядя, иди проспись. Отойди!

— Эт-то што такое?! — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался?

— Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшел!

Монах полез было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой.

— Пшел, говорят! Нальют глаза-то и лезут… Не положено подходить! Вон инструкция висит: подходить к воротам не ближе десяти метров.

— Ах ты, харя! — заругался монах. — Ах ты, аборт козлиный!.. Ну ладно, ладно… Дай, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу заместо инструкции!

— И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю — там будешь выражаться сколько влезет. Обзываться он будет! Я те пообзываюсь!.. Иди отсюда, пока я те… Иди отсюда! Бочка пивная. Иди отсюда!

— Агафангел! — позвали монаха. — Отойди… А то наживешь беды. Отойди от греха.



Агафангел, покачиваясь, пошел восвояси. Пошел и загудел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная…

Черт-стражник захихикал ему в спину.

— Агафангел… — сказал он, смеясь. — И назовут же!

Уж скорей — Агавинус. Или просто — вермут.

— Што же это, братцы, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали?

— Выгнали… — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали! — пиночьями, вот как выгнали. Взашей попросили.

— Беда, беда… — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда: небывалая. Отродясь такой не видывали.

— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.

— Да что же терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то? Надо же что-то делать!

— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь.

Што делать? Што тут сделаешь — вишь сила какая!

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи… Надо терпеть.

— Будем терпеть.

Иван с силой, зло стукнул кулаком себя по колену.

И сказал горько:

— Где была моя голова дурная?! Где она была, тыква?! Я виноватый, братцы, я виноватый!.. Я подкузьмил вам. На мне грех.

— Ну, ну, ну… — стали его успокаивать. — Чего ты? Эка, как тебя ограбастало. Чего ты?

— Эх-а!.. — сокрушался Иван. И даже заплакал. — Сколько же я на душу взял… За один-то поход! Как же мне тяжко!..

— Ну, ну… Не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок.

— Да ну!.. Все терпеть да терпеть! Только и умеем — терпеть.

— Што же делать-то? Ничего теперь не сделаешь.

Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем.

— Мужички, — сказал он, — есть халтура! Кто хочет заработать?

— Ну? А чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то?

— У вас там портреты висят… в несколько рядов…

— Иконы.

— А?

— Святые наши, какие портреты.

— Их надо переписать: они устарели.

Монахи опешили.

— И кого же заместо их писать? — тихо спросил самый старый монах.

— Нас.

Теперь уже все смолкли. И долго молчали.

— Гром небесный, — сказал старик монах. — Вот она, кара-то.

— Ну? — торопил изящный черт. — Есть мастера? Заплатим прилично… Все равно ведь без дела сидите.

— Бей их! — закричал вдруг один монах.

И несколько человек вскочило… И кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота, за стражника. А к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.

— Какие вы все же… грубые, — сказал им изящный черт из-за частокола. — Невоспитанные.

Воспитывать да воспитывать вас… Дикари. Пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся.

И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка… И послышался звонкий перестук копыт по булыжнику: черти били на площади массовую чечетку.

Иван взялся за голову и пошел прочь.

Шел он по лесу, а его все преследовала, догоняла, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал — так горько было на душе, так мерзко!

Сел он на ту же поваленную лесину, на какой сидел прошлый раз. Сел и задумался.

Сзади подошел медведь и тоже присел.

— Ну, сходил? — спросил он.

— Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше бы не ходил…

— Что? Не дали справку?

Иван только рукой махнул, не стал говорить: больно было говорить.

Медведь прислушался к далекой музыке… И все понял без слов.

— Эти… — сказал он. — Все пляшут?

— Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то.

— Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли?

— Прошли.

— Ну всё, — сказал медведь обреченно, — надо уходить. Я так и знал, что пройдут.

Они помолчали.

— Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу… какие условия в цирке?

— Вроде ничего… Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего.

— Как насчет питания, интересно… Сколькиразовое?

— Шут его знает. Хочешь в цирк?

— Ну а что делать-то? Хочешь не хочешь — пойдешь. Куда больше?

— Да-а… — вздохнул Иван. — Дела.

— Сильно безобразничают? — спросил медведь, закуривая. — Эти-то.

— А что же… смотреть, что ли, будут?

— Это уж… не для того старались. Погарцуют теперь. Тьфу, в душу мать-то совсем!.. — Медведь закашлялся. Долго, с храпом, кашлял. — Еще откажут вот… в цирке-то — собрался. Забракуют. Легкие как тряпки стали. Бывало, пробку вышибал — с оглоблю толщиной вылетала, а давеча за коровой погнался… кхо, кхо, кхох… с версту пробежал и язык высунул. А там небось тяжести надо подымать.

— Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван.

— Зачем? — не понял медведь.

— Да что же ты, не знаешь, что ли? Тех и кормят, кто на задних лапах умеет. Любая собака знает…

— Да какой интерес-то?

— Это уж я не знаю.

Медведь задумался. Долго молчал.

— Ну и ну, — сказал.

— У тебя семья-то есть? — поинтересовался Иван.

— Где!.. — горько, с отчаянием воскликнул Михайло Иванович. — Разогнал. Напился, начал буянить-то — они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. — Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул: — Ну, курва!.. Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь!

— Зачем же монастырь-то?

— Они же там!..

— Нет, Михайло Иваныч, не надо. Да ты и не попадешь туда.

Михайло Иваныч сел и трясущимися лапами стал закуривать.

— Ты не пьешь? — спросил.

— Нет.

— Зря, — зло сказал Михайло Иваныч. — Легче

становится. Хошь, научу?

— Нет, — решительно сказал Иван. — Я пробовал: она горькая.

— Кто?

— Водка-то.

Михайло Иваныч оглушительно захохотал… И хлопнул Ивана по плечу:

— Эх, дитё ты, дитё!.. Чистое дитё, ей-богу. А то на-учу?

— Нет. — Иван поднялся с лесины. — Пойду: время осталось с гулькин нос. Прощай.

— Прощай, — сказал медведь.

И они разошлись в разные стороны.

И пришел Иван к избушке Бабы-яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал — зовут:

— Иванушка, а Иванушка!.. Что ж мимо-то?

Оглянулся Иван — никого.

— Да здесь я, — опять голос, — в сортире!

Видит Иван сортир, а на двери — замок пудовый. А голос-то оттуда, из сортира.

— Кто там? — спросил Иван.

— Да я это, дочка Бабы-яги… усатая-то, помнишь?

— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?

— Выручи меня отсюда, Иванушка… Открой замок. На крылечке, под половиком, ключ, возьми

и открой. Потом расскажу все.

Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь Бабы-яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.

— Вот как нынче с невестами-то!.. Ну, змей!.. Я тебе этого не прощу, я тебе устрою!

— Это Горыныч тебя туда законопатил?

— Горыныч… Тьфу, змей! Ладно, ладно… чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад!

— За что он тебя? — спросил Иван.

— Спроси у него!.. Воспитывает. Полковника из себя изображает: на гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи! Дубина такая. — Дочка Бабы-яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана. — Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником? А?

Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту: усатая-то она усатая, но остальное-то все при ней, и даже больше — и грудь, и все такое. Да и усы-то… это ведь… что значит усы? — темная полоска на губе, какие это, в сущности, усы, это не усы, а так — признак.

— Я что-то не понял… — замялся Иван. — Как-то это до меня… не совсем… не того…

«Ванька, смотри! — раздался вдруг голос Ильи Муромца. — Смотри, Ванька!»

— Начинается! — поморщился Иван. — Заванькал!

— Что начинается? — не поняла невеста; она не могла слышать голос Ильи: не положено. — Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовницы.

— Да нет… — сказал Иван. — Зачем? Я в том смысле, что… значит, это… дело-то такое…

— Что там мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да — так да, нет — нет, чего тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову.

— А Баба-яга-то?..

— Она в гости улетела. А Горыныч на войне.

— Пошли, — решился Иван. — У меня полчаса есть еще. Побалуемся.

Вошли они в избушку.

Иван скинул лапоточки и вольготно прилег пока на кровать.

— Устал, — сказал он. — Ох и устал же! Где только не был! И какого я только сраму не повидал и не натерпелся…

— Это тебе не на печке сидеть. Что лучше: салат или яишенку?

— Давай чего-нибудь: на скорую руку… Время-то — к свету.

— Успеешь. Лучше мы яишенку, с дороги-то

— посытней. — Дочь Бабы-яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку. — Пусть пока разогревается… Ну-ка поцелуй меня — как ты умеешь? — И дочь Бабы-яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться. — О-о, да ты не умеешь ничего!.. А лапти снял!

— Кто не умеет? — взвился Иван соколом. — Я не умею? Да я тут счас так размахнусь, что ты… Держи руку! Руку держи!.. Да мою руку-то, мою — держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи!.. Держишь?

— Держу! Ну?

— Отпуска-ай! — заорал Иван.

— Погоди, сковородка перекалилась, наверно, — сказала дочь Бабы-яги. — Ты смотри, какой ты! А ребеночка сделаешь мне?

— Чего же не сделать? — вовсю раздухарился Иван. — Хоть двух. А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? С имя ведь возни да возни… знаешь сколько!

— Я уже пеленать умею! — похвасталась дочь Бабы-яги. — Хошь, покажу? Счас яишенку поставлю… и покажу.

Иван засмеялся.

— Ну-ну… — сказал.

— Счас увидишь. — Дочь Бабы-яги поставила

на огонь яичницу и подошла к Ивану. — Ложись.

— Зачем я-то?

— Я тебя спеленаю. Ложись.

Иван лег… И дочь Бабы-яги стала пеленать его в простыни.

— Холесенький мой, — приговаривала она, — маленький мой… сынуленька мой. Ну-ка, улыбнись мамочке. Ну-ка, как мы умеем улыбаться?.. Ну-ка?

— У-а-а, у-а-а, — поплакал Иван. — Жратеньки хо-чу-у, жратеньки хочу-у!..

Дочь Бабы-яги засмеялась.

— А-а, жратеньки захотели? Жратеньки захотел наш сынуленька… Ну вот… мы и спеленали нашего маленького. Счас мы ему жратеньки дадим… все дадим. Ну-ка, улыбнись мамочке!

Иван улыбнулся «мамочке».

— Во-от. — Дочь Бабы-яги опять пошла в куть.

Когда она ушла, в окно, с улицы, — прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча. И замерли, глядя на спеленатого Ивана… И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

— Утютюсеньки! — ласково сказал Горыныч. — Маленький… Что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись… Ну-ка?

— Мне не смешно, — сказал Иван.

— А-а, мы, наверно, того?.. Да, маленький?

— По-моему, да, — признался Иван.

— Мамочка! — позвал Горыныч. — Иди, сыночек обкакался.

Дочь Бабы-яги уронила на пол сковородку с яишенкой… Остолбенела. Молчала.

— Ну, что же вы?.. Чего же не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные. — Горыныч улыбался всеми тремя головами. — Не любите папочку? Не любят, наверно, папочку, не любят… Презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка… с косточками! — Горыныч перестал улыбаться. — С усами! С какашками! Страсти разыгрались?! — загремел он хором. — Похоть свою чесать вздумали?! Игры затеяли?! Представления?.. Я проглочу весь этот балаган за один раз!..

— Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать… Я заместо справки целую печать добыл. Эт-то ведь… того… штука! Так что ты не ори тут. Не ори! — Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе. — Чего ты разорался? Делать нечего? Схавает он… Он, видите ли, жратеньки нас будет! Вон она, печать-то, — глянь! Вон, в

штанах. Глянь, если не веришь! Припечатаю на три лба, будешь тогда…

Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк… Только еще сказал тихо:

— Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака.

Дочь Бабы-яги упала перед Горынычем на колени.

— Возлюбленный мой, — заговорила она, — только пойми меня правильно: я же тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю: прилетит Горыныч, а у меня для него что-то есть вкусненькое… тепленькое, в простынках.

— Вот твари-то! — изумился Иван. — Сожрут и скажут: так надо, так задумано. Во, парочка собралась! Тьфу!.. Жри, прорва! Жри, не тяни время! Проклинаю вас!..

И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.

— Доигрался, сукин сын?! — закричал он на Ивана. — Доигрался?! Спеленали!

Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы.

— Эт-то что еще такое? — зашипел он.

— Пошли на полянку, — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. — Там

будет способней биться. — Он опять посмотрел на Ивана… Укоризненно сморщился. — Прямо подарок в кулечке. Как же ты так?

— Оплошал, атаман… — Ивану совестно было глядеть на донца. — Маху дал… Выручи, ради Христа.

— Не горюй, — молвил казак. — Не таким оглоедам кровя пускали, а этому-то… Я ему враз их смахну, все три. Пошли. Как тебя? Горыныч? Пошли цапнемся? Ну и уродина!..

— Какой у меня завтрак сегодня! — воскликнул Горыныч. — Из трех блюд. Пошли.

И они пошли биться.

Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая. Земля дрожала.

Иван и дочь Бабы-яги ждали.

— А чего это он про три блюда сказал? — спросила дочь Бабы-яги. — Он что, не поверил мне?

Иван молчал. Слушал звуки битвы.

— Не поверил, — решила дочь Бабы-яги. — Тогда он и меня сожрет: я как десерт пойду.

Иван молчал.

Женщина тоже некоторое время молчала.

— А казак-то!.. — льстиво воскликнула она. — Храбрый какой. Как думаешь, кто одолеет?

Иван молчал.

— Я за казака, — продолжала женщина. — А ты за кого?

— О-о! — застонал Иван. — Помру. От разрыва сердца.

— Что, плохо? — участливо спросила женщина. — Давай я распеленаю тебя. — И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась. — Нет, подождем пока… Черт их знает, как там у них? Подождем.

— Убей меня! — взмолился Иван. — Проткни ножом… Не вынесу я этой муки.

— Подождем, подождем, — трезво молвила женщина. — Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться.

В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь Бабы-яги замерли в ожидании…

Вошел, пошатываясь, атаман.

— Здоровый бугай, — сказал он. — Насилу одолел… А где эта… А-а, вот она, краля! Ну, чего будем делать? Вслед за дружком отправить тебя, гадину?

— Тю, тю, тю! — замахала руками дочь Бабы-яги. — О, мне эти казаки! — сразу за горло брать. Ты хоть узнай спервa, что тут было-то!

— А то я не знаю вас! — Атаман распеленал

Ивана и опять повернулся к женщине. — Что же тут было?

— Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой охальник, такой охальник!.. Заласкаю, говорит, тебя до умопомраченья. И приплод, мол, оставлю: назло Горынычу. Такой боевитый, такой боевитый — так и обжигает!.. — И дочь Бабы-яги нескромно захихикала. — Прямо огонек!

Атаман удивленно посмотрел на Ивана:

— Иван…

— Слушай ее больше! — воскликнул Иван горько. — И правда бы, убить тебя, да греха на душу брать неохота — и так уж там… невпроворот всякого. Хоть счас бы не крутилась!

— Но какой он ни боевитый, — продолжала женщина, словно не слыша Ивана, — а все же боевитее тебя, казак, я мужчин не встречала.

— А что, тебе так глянутся боевитые? — игриво спросил атаман. И поправил ус.

— Брось! — сказал Иван. — Пропадем. Не слушай ее, змею.

— Да ну, зачем пропадать… Мы ее в плен возьмем.

— Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут.

— Ты иди, — велел атаман, — а я тебя догоню.

Мы тут маленько…

— Нет, — твердо сказал Иван. — С места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?

— Мх-х… — огорчился казак. — Ну ладно. Ладно… Не будем огорчать Муромца. До другого разочка, краля!

Ишь ты, усатая! Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь… усы на усы! — Атаман громко засмеялся. — Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье — он беду-то почуял. А ведь он остерегал тебя, чего не послухал?

— Да вот… вишь мы какие боевитые… Не послухал. Иван с атаманом ушли.

А дочка Бабы-яги долго сидела на лавочке, думала.

— Ну, и кто же я теперь? — спросила она сама себя. И сама же себе ответила: — Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

В библиотеке Ивана и донца встретили шумно и радостно.

— Слава богу, живы-здоровы!

— Ну, Иван, напужал ты нас! Вот как напужал!..

— Ванюша! — позвала Бедная Лиза. — А Ванюша!

— Погоди, девка, не егози, — остановил ее

Илья, — дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька? Добыл справку?

— Целую печать добыл — вот она. — И Иван отдал печать.

Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак… Передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья; он тоже долго вертел в огромных пальцах печать… Потом спросил всех:

— Ну, так… А чего с ней делать?

Этого никто не знал.

— И зачем было посылать человека в такую даль? — еще спросил Илья.

И этого тоже теперь никто не знал. Только Бедная Лиза, передовая Бедная Лиза хотела выскочить с ответом:

— Как это ты говоришь, дядя Илья…

— Как я говорю? — жестко перебил ее Муромец. — Я говорю: зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот — печать… Что дальше?

Этого и Бедная Лиза не знала.

— Садись, Ванька, на место и сиди, — велел Илья. — А то скоро петухи грянут.

— Нам бы не сидеть, Илья! — вдруг чего-то вскипел Иван. — Не рассиживаться бы нам!..

— А чего же? — удивился Илья. — Ну, спляши тогда. Чего взвился-то? — Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана. — Эка… какой пришел.

— Какой? — все не унимался Иван. — Такой и пришел — кругом виноватый. Посиди тут!..

— Вот и посиди и подумай, — спокойно молвил Илья.

— А пошли на Волгу! — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. — Чего сидеть?! Сарынь!!

Но не успел он крикнуть свою «сарынь», раздался трубный глас петуха: то ударили третьи.

Все вскочили на свои полки и замерли.

— Шапка-то! — вскрикнул атаман. — Шапку оставил на полу.

— Тихо! — приказал Илья. — Не трогаться! Потом подберем… Счас нельзя.

В это время скрежетнул ключ в дверном замке… Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.

— Шапка какая-то… — увидела она. И подняла шапку. — Что за шапка?.. Чудная какая-то. — Она посмотрела на полки с книгами. — Чья же это?

Персонажи сидели тихо, не двигались… И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его

шапка.

Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться.

Тут и сказке нашей конец.

Будет, может быть, другая ночь… Может быть, тут что-то еще произойдет… Но это будет уже другая сказка. А этой — конец.